Хроники
Иерусалима

Алекс Тарн

Протоколы Сионских Мудрецов

Часть первая.

1

На выходе из самолета Бэрл протянул руку хорошенькой стюардессе и широко улыбнулся. «Не плачь, Клава, – сказал он по-русски. – Еще увидимся». Девушка не врубилась в непонятный текст, отчего ее профессиональная улыбка вышла несколько растерянной. Сложенная лодочкой робкая голландская ладошка потонула в необъятной бэрловой лапище.

«Цель визита?» – «Бизнес». Чиновник шлепнул печать, и Бэрл ступил в кондиционированные чертоги Схипольского аэропорта. Бутылка «Мартеля», предусмотрительно запасенная в Бен-Гурионе и безвозвратно иссякшая где-то над Альпами, не улучшила его настроения – пасмурного, в тон февральской североевропейской погоде. Сидя в поезде, мчавшем его в направлении амстердамского вокзала, Бэрл спрашивал себя: в чем, собственно, дело? В чем, собственно, дело, парень, какого хрена свинячьего ты куксишься?

Задача выглядела ясной на все сто, и в то же время оставляла столь любимую Бэрлом свободу маневра. Место? Бэрлу нравился Амстердам, беспечная, праздничная однообразность его разноцветных домов, концентрические полукружия его каналов, темные полукружия под глазами его веселых, безразличных, обкуренных обитателей. Время? Время, конечно, можно было бы подобрать получше. Например, июнь с его шумными фестивалями, живописной космополитической толпой и бесстыжими парочками всех комбинаций на многострадальной траве Вондель-парка. Или, скажем, сентябрь – цветочные парады, утомленное пресыщение ранней осени, желтизна первых листьев на воде каналов. А февраль... что февраль? – дождь и все тут; даже газоны Вондель-парка закрыты на просушку – то ли от дождя, то ли от спермы, щедро пролитой на них за отвязное лето... С другой стороны, дома зима выдалась на удивление сухой, так что Бэрл определенно соскучился по дождю.

И тем не менее какое-то неприятное предчувствие не покидало его, назойливо копошась где-то в затылке, занудно поднывая в самом низу живота. Что за ерунда! На вокзале Бэрл прямиком проследовал в камеры хранения. Небольшой, но тяжелый чемодан ждал его в условленном месте. Пошарив во внешнем кармашке, Бэрл извлек оттуда пластиковую карточку-ключ в конвертике отеля «Мемфис». «Ну вот, дурочка, – сказал он сам себе. – А ты боялась…». Настроение и впрямь пошло на поправку, и, весело насвистывая, дабы поддержать положительную тенденцию, Бэрл вышел на засеянную мелким зимним дождиком привокзальную площадь веселого города Амстердама.

Он отпустил такси на Музейной площади, за нескольких кварталов до отеля. На счастье, лобби «Мемфиса» было забито ордой азиатских туристов: не то корейцы, не то китайцы в одинаковых двуцветных куртках, обвешанные тоннами кинофотовидеоаппаратуры, сварливо распределялись по номерам. Швейцар-суринамец,и чемоданные мальчики уже давно перешагнули порог чувствительности и теперь пережидали азиатов как стихийное бедствие, уйдя в себя и уставясь в пространство с выражением безграничной покорности судьбе. Не привлекая в этой суете ничьего внимания, Бэрл поднялся на второй этаж и открыл дверь своего номера.

Острый запах опасности ударил в ноздри еще до того, как рука с пистолетом взметнулась ему навстречу. Шестым чувством просчитав чье-то присутствие сзади, он успел присесть одновременно с чудовищным ударом, обрушившимся на затылок, нейтрализовав таким образом большую часть фатальной разрушительной силы. Следуя инерции падения, Бэрл отпустил чемодан и, стараясь производить как можно больше грохота, всей своей стадесятикилограммовой массой рухнул в закуток между столом и комодом. И затих, оценивая ситуацию сквозь прикрытые веки.

Бэрл рассчитывал на то, что шум от их совместного с чемоданом падения собьет противника с ритма, и это позволит ему выиграть столь необходимые секунды. И впрямь, нападавшие замерли, напряженно прислушиваясь и на время выключив Бэрла из зоны первоочередного внимания. Их было двое, худощавых бородатых парней не оставляющей никаких сомнений наружности.

«Только куфии не хватает, – подумал Бэрл. – Суки драные...» Он ощущал странное, даже веселое спокойствие. В этой комнате ему повезло уже дважды. Во-первых, его не убили сразу, а значит, будут дополнительные шансы. Во-вторых, ему удалось с наименьшими потерями сымитировать тяжелую отключку, что сулило просто-таки блистательные перспективы, тем более, что парни отнюдь не выглядели профессионалами.

Выйдя из первого оцепенения, они наконец обрели дар речи. Арабской речи... «Идиот, – придушенно прошипел первый, высокий араб с десятком золотых цепочек под расстегнутым воротом белой шелковой рубашки. – Это называется «тихо»? Ты же уверял, что сделаешь его без лишнего шума...»

«Да ладно тебе, Махмуд, – нервно хихикнул второй, в джинсах и футболке «Аякса». – Ничего страшного. От китаезов такой гвалт, что хоть бомбу взрывай – никто не дернется. Зато смотри, как я этого бегемота вырубил!» Он гордо взмахнул здоровенной бейсбольной битой.

«Еще как повезло...» – радостно отметил про себя Бэрл.

Махмуд подошел к телефону и набрал номер. Теперь он говорил по-английски. «Брат? Мы встретили гостя... Да, все в порядке. Как у тебя? Тихо? Ладно, оставайся пока там».

Он подошел к Бэрлу и присел перед ним на корточки, уткнув пистолетный ствол с глушителем под тяжелую бэрлову челюсть. «Эй ты, погань еврейская, – прошипел он, на этот раз на иврите. – Просыпайся, скотина!»

«Э, да парень, оказывается, полиглот», – подумал Бэрл, но глаз не открыл.

«Принеси-ка водички, – не оборачиваясь, сказал Махмуд. – Говорят, бегемоты только в воде разговаривают».

Бросив биту на кровать, парень в джинсах отправился в ванную. На спине его футболки красовалось знаменитое «Гуллит».

«Собака, – подумал Бэрл. – Какое имя марает...» Затем Бэрл думать перестал, ибо Махмуд наконец-то повернулся к нему виском, провожая взглядом уходящего «Гуллита». Самое время было воскресать. Сокрушительный удар лбом обрушился на махмудову височную кость. Так великий Гуллит бодал мячи, загоняя их в сетки ворот соперников мимо отваливших удивленные челюсти вратарей. Махмуд не стал исключением – он тоже отвалил челюсть, закатил глаза и обмяк.

Бэрл поднял пистолет, как раз чтобы приветствовать вышедшего из ванной «Гуллита».

«Поставь стакан на стол, мразь, – сказал он по-арабски. – Разольется, паркет жалко».

«Гуллит» икнул и поставил стакан. Бэрл выстрелил дважды. Затем он повернулся к бесчувственному Махмуду.

«Ты, я помню, водички просил, братан? – Бэрл аккуратно выплеснул на Махмуда принесенную покойным «Гуллитом» воду. – Пей, дорогой…»

Махмуд дернулся и открыл глаза. Его мутило, он с трудом сфокусировал взгляд на приветливой бэрловой физиономии. Левой рукой Бэрл сгреб араба за рубашку вместе с бесчисленными цепками и встряхнул. «Говори», – только и сказал он и приготовился слушать.

Подгонять Махмуда не требовалось. Он говорил, косясь на две ровные симметричные дырочки во лбу привалившегося к стене «Гуллита», он тараторил, захлебываясь от честного непреодолимого желания рассказать все, даже самые мельчайшие подробности, так что Бэрлу приходилось время от времени ласково, но твердо останавливать эти потоки информации, когда они разливались на совсем уж неинтересных направлениях. Оба они знали, что Махмуд умрет, как только ему нечего будет больше сказать, и это знание наполняло махмудову душу острой сосущей тоской, ужасом и неутолимой потребностью говорить, говорить, говорить – без конца.

«Погоди-ка секундочку, – сказал Бэрл, будто вспомнив что-то. – Позвони-ка своему человеку вниз. Скажи, чтоб поднимался».

Махмуд с готовностью схватил трубку. Он говорил вполне естественно, даже подмигнул Бэрлу – мол, смотри, как мы с тобой его разыгрываем... Бэрл кивнул. Положив трубку на рычаг, он протянул руку и погладил Махмуда по голове.

«Молодец, братан, так держать».

Махмуд ободренно улыбнулся, и Бэрл, протянув вторую руку, резким движением сломал ему шею. Он сделал это так быстро, что бедняга даже не успел понять, что произошло, так и оставшись сидеть с приклеенной жалкой улыбкой на твердеющем лице, с безумной и робкой надеждой, застывшей в остекленевших глазах, отразивших последний акт драмы – короткую возню у двери и еще одну смерть, смерть преданного им товарища.

* * *

Бэрл запер входную дверь и, сделав глубокий вдох, заглянул в ванную. Девушка была там. Она стояла так, как мерзавцы пристроили ее стоять – наперевес через край ванны, на коленях, со связанными ногами, с кляпом во рту, с руками, прикрученными к вентильному кронштейну на противоположной стене. Тут же был кусок двужильного оголенного на концах провода, воткнутый в розетку для электробритвы. На белой, бессильно провисшей спине пламенели язвы сигаретных ожогов... Девушка мотнула слипшейся каштановой гривой и замычала. Это вывело Бэрла из оцепенения.

Развязывая узлы и осторожно перетаскивая на кровать бесчувственное тело, Бэрл не переставал напряженно просчитывать варианты. Судя по всему, девица была из группы обеспечения. Видимо, ее задача ограничивалась съемом этого номера и передачей ключа другому помощнику, тому, что оставил для Бэрла чемодан в камере хранения. Передав ключ, она должна была исчезнуть на пару-тройку дней. Ни у нее, ни у ее напарника не было и тени понятия о смысле и целях этих действий. Они не знали и не могли знать Бэрла, как, собственно, и он не знал их. Так что подонки зря мучили девочку – при всем желании ей было нечего им рассказать.

Непонятно другое – где произошла засветка? Предсмертная исповедь Махмуда об этом умалчивала. Да и что мог он знать, Махмуд, мелкая сошка... Небось, кайфует сейчас в своем мусульманском раю, пускает слюни, взгромоздившись на первую из положенных ему семидесяти девственниц, царапает ее в кровь своими золотыми цацками... Впрочем, кое-чем он все-таки помог. Во-первых, назвал имя босса, того, кто посадил в засаду махмудову группу. Абу-Айяд – старый знакомый, матерый волчара... Во-вторых – рассказал о другой группе, ушедшей за девушкиным напарником. Это наводило на грустные мысли не только о судьбе последнего, но и о чемодане. Бэрл готов был поклясться, что слежки за ним не было ни на вокзале, ни на пути в отель. С другой стороны, навряд ли они отпустили бы его просто так, без всякого сопровождения, полагаясь лишь на его непременный приход в «Мемфис». Следовательно, сопровождение находилось в чемодане, пластиковое такое сопровождение, все в разноцветных красивых проводочках... Помимо всего прочего, молчание Махмуда должно было уже обеспокоить его революционное начальство. По всему выходило, что надо сматывать удочки и поскорее.

Бэрл открыл минибар и удовлетворенно хмыкнул. Весь ассортимент был в наличии. Хоть чем-то вы хороши, братья-мусульмане – выпивку никогда не расходуете! Коньяки были представлены «Мартелем» – уже третье по счету бэрлово везение. Ох, надолго ли? Бэрл принял коньяк залпом, как лекарство и, захватив две другие бутылочки, подошел к девушке.

«Эй, подружка, – он осторожно потряс ее за плечо. – Кончай с этим пляжным настроением, так ведь и совсем обгореть недолго». Бэрл открыл второй «мерзавчик» и аккуратно влил его в запекшийся полуоткрытый рот. Девушка дернулась и, рывком приподнявшись, вперилась в Бэрла диким взглядом загнанной лисицы.

«Шалом, сестричка, – быстро сказал он на иврите. – Поехали домой. Все кончилось. Домой».

Он повторял слово «домой», как заведенный, на все лады и со всеми интонациями, пока она не кивнула.

«Ну вот и хорошо, вот и ладно... Только сначала мы должны заняться твоей спиной. А нет ли у тебя тут крема какого?»

Неожиданно она снова кивнула: «Есть... от загара... в сумочке...»

«От загара?!» Бэрл хрюкнул, подавляя приступ неуместного смеха, но тщетно – неимоверное напряжение последней четверти часа неудержимо рвалось из него наружу лавиной гомерического хохота, и уже не сопротивляясь ему, он рухнул на пол между безучастными «Гуллитом» и Махмудом и заржал, захлебываясь и повизгивая, так, как не ржал еще никогда за всю свою непростую тридцатилетнюю жизнь. Она смотрела на него, катающегося по полу между трупами ее мучителей, и страх сменялся в ней недоумением, затем – обидой и, наконец, подхваченная вулканическими извержениями бэрлового гогота, она засмеялась сама, неуверенным, маленьким, целебным смехом.

С трудом овладев собой, Бэрл делал помогающий в таких случаях глубокий вдох, когда она крикнула ему с кровати: «Что ты ржешь, идиот? Что ты видишь смешного во всем этом, кретин?»

По сути, она, конечно, была более чем права, учитывая ситуацию с тремя еще теплыми трупами, адской машиной в чемодане и Абу-Айядом на подходе, не говоря уже об исчезнувшем напарнике и сожженной сигаретными окурками спине. Все это вместе и даже каждая деталь в отдельности не располагали к веселому настроению. Тем не менее, Бэрл, уже совсем было справившийся со смехом, зашелся по-новой.

«Дура... – задушенно выдавил он. – От загара... в феврале... в Амстердаме... зачем, мать твою? в феврале...»

И снова он накатывал тяжело-груженные эшелоны смеха, впрочем, все более и более замедлявшие ход, пока, наконец, дробный стук их колес не сменился предвещающим близкую остановку медленным дра-бад-даном с оттяжкой.

И пока он, все еще похрюкивая, вытирал мокрые от слез глаза, она вдруг осознала свою наготу, полную наготу, в чем мать родила двадцать один год тому назад, в чем оставили ее два этих подонка, гадские педики, педики, фаготы сраные, они даже изнасиловать ее не смогли, бздуны, не встал, и они мстили ей за это, туша об нее окурки и тыча в пятки электрическим проводом. Забытая на кровати бейсбольная бита легла ей в руку легко и удобно. Первым ударом она выбила Махмуду нижнюю челюсть. Это было классно. Наотмашь – хрясть... И еще... и еще разочек... Она ощущала, как веселая истерическая сила рождается в ней с каждым ударом, пузырится, растет... хрясть... падлы...

Бэрл, сидя на полу, с серьезным и сочувственным выражением наблюдал за процессом обезличивания борцов за свободу Палестины. К этому примешивалось новое чувство – он вдруг осознал, что любуется ею, дикой, неистовой, голой, ладно скроенной Валькирией, или как там – Брунхильдой, или... а черт, что за дребедень... время-то, время-то уходит... Он привстал, счастливо миновав молодецкий отмах биты, и ухватил Валькирию за плечи: «Ну все, все... эк ты раздухарилась... отдохни, чуток».

Она выронила биту и, разом обмякнув, повисла у него на руках. Она всхлипнула – раз, другой, как первые капли ливня, потом – чаще и чаще, сплошным захлебывающимся заговором и – зарыдала-заплакала, по-детски захватывая воздух, лепеча, жалуясь, повизгивая, скуля, как придавивший лапу щенок. Бэрл повернул ее к себе и гладил по голове, приговаривая что-то невразумительно-шипящее: «ну что ты... что ты... что ты...»

Она и перестала плакать, как ливень – разом, с редкими судорожными всхлипами тут и там.

«Что? – спросил он, поняв наконец, что она говорит какой-то осмысленный текст, а вовсе не всхлипывает, как это ему казалось по инерции. – Что ты сказала?»

«Крем в сумочке... Ты хотел крем... от загара...» И они оба рассмеялись почти счастливым смехом, легким, как смех влюбленных.

«Ложись на живот», – сказал он неожиданно севшим голосом. Она медленно отстранилась от него и подошла к кровати. Не глядя на Бэрла, она ощущала на своих бедрах и ягодицах его потяжелевший взгляд. Этот взгляд, как грубая горячая ладонь, ложился на ее тело, гладя и обжигая, и саднящая боль от сигаретных ожогов, казалось, только усиливала эту нарастающую тягучую ласку.

Бэрл откупорил третий «мерзавчик». Он вылил водку в горсть и, помедлив, выплеснул ее на распростертую перед ним, напряженно ожидающую спину.

«А-ах...» Оба знали, что в этом стоне было меньше боли, чем наслаждения. Бэрл выдавил крем на обе ладони и возложил их на бушующую перед ним стихию. Он знал, что каждая лишняя минута, проведенная в этой комнате, может оказаться смертельной; он почти физически слышал тиканье механизма в валяющемся под столом чемодане; он представлял себе Абу-Айяда с десятком молодцов, подъезжающих на двух мерседесах; кровавые маски мертвых арабов скалились на него с пола – но он также знал, что другая, намного более мощная сила подчиняет его себе в эту минуту, управляет его руками, распирает его чресла.

Она выскользнула из-под его ладоней, как волна из-под борта лодки, опрокинула его на спину, выплеснулась на грудь, затопила лицо в омуте волос. Он чувствовал ручьи ее рук, текущие по его телу – везде сразу, вытягивающие его навстречу этому сладкому и вихрящемуся водовороту, и он весь потянулся туда, навстречу и пропал и пропал и пропал...

А она соскальзывала вверх по крутой спирали через невероятную череду взрывов и судорог к последнему ослепительному пику, сияющему в ее черно-белом, мерно раскачивающемся мозгу. Уже почти добравшись до него, она вдруг изогнулась дугой и, обернувшись, поймала глазами остекленевший махмудовский взгляд. И тогда уже, как будто получив последний толчок от глазеющего на нее мертвеца, она наконец зашлась, забилась в бесконечной пульсирующей вибрации, сотрясающей оба их истекающих любовью тела.

* * *

«Как тебя зовут, валькирия?» – спросил Бэрл, когда комната перестала качаться и плыть перед глазами, и вещи мира медленно но верно начали возвращаться на свои места.

«Ноа, – соврала она. – А тебя?»

«Моше, – соврал он, по кусочкам собирая себя. – Надо бы нам сматываться, Ноа. Странно, что мы еще живы...»

Пока она одевалась, собирая уцелевшие вещи, Бэрл колдовал над чемоданом. Телефон зазвонил, когда, вооружившись полотенцами, они обходили номер, тщательно стирая возможные отпечатки.

«Все, – сказал Бэрл. – Уходим. У нас есть не более минуты.»

Перед тем, как захлопнуть дверь, он пристроил к ней нехитрую конструкцию из стула, поясных ремней и чемодана.

Спустившись по служебной лестнице, они оказались на улице и быстро двинули в сторону парка. Они уже садились в такси, когда эхо сильного взрыва донеслось со стороны отеля.

«Что такое, бижу? – удивленно обратился Бэрл к водителю-африканцу. – Страдаете газами? Еще бы, глючные грибы – тяжелая пища...»

На набережной Амстеля Бэрл нашел телефонную будку и набрал номер. «Красный код», – сказал он по-английски в безмолвную трубку. Долгое молчание было ему ответом. Затем мужской голос спросил: «Где?» Бэрл ответил и отсоединился.

Через десять часов они сходили с трапа лондонского рейса в аэропорту Бен-Гурион. На выходе из самолета Бэрл задержался около стюардессы.

«Что ты ей сказал?» – спросила «Ноа», поджидавшая его внизу.

«Чтоб не плакала», – ответил Бэрл и ухмыльнулся.

2

«...и ух-мыль-нул-ся». Точка! Вот оно как, государи вы мои милостивые... Еще одну главу отбуцкал, отстругал, отбомбил. Еще семьсот зеленых американских тугриков в бездонную прорву моего дырявого кармана. Спасибо тебе, Бэрл, лапочка, детище мое ненаглядное, за хлеб, за башли. И подружке твоей безымянной спасибо отдельное, и Махмуду, и даже быстро продырявленному «Гуллиту»... Надо бы выпить по этому поводу. Шломо сунул ноги с раздолбанные тапки и зашлепал на кухню.

Дважды в месяц он отсылал по электронной почте несколько страничек приключений своего несгибаемого Бэрла. Кому отсылал? А черт его знает... Черт его знает, кто скрывался под безличной комбинацией цифр и знаков этого интернетовского адреса. Да и кому какая разница, если ровно через два дня на шломин перегруженный овердрафтом счет капали благословенные доллары. Капали, как капли воды в пересохшее горло. Как валерьянка сердечнику. Как водка алкоголику. В общем – кайф.

Если уж начинать с самого начала, то примерно год тому назад Шломо получил первое и пока единственное послание от своего неизвестного благодетеля. Скорее всего, получил его не только Шломо, но и сотни других мелких литработников из бесчисленных русскоязычных изданий, рассеянных сейчас, слава Богу, по всему свету. Послание содержало простое и понятное предложение – текст в обмен на деньги. Конечно, если текст окажется Благодетелю по вкусу.

Видимо, эта необычная для подобных писем простота и заставила его отнестись к предложению более-менее серьезно. Как правило, ведь получаешь по несколько раз на дню всякие красочные многословные простыни с идиотскими заголовками типа «Ваше будущее – в ваших руках» или «Сделайте ваш первый миллион» или еще чего в том же духе. Только, мол, вышлите нам рупь-два или шекель-три, а еще лучше – доллар-четыре в качестве вступительного взноса...

Нет, никакого такого жульничества в письме Благодетеля не содержалось. Текст в обмен на бабки, да и только. Ну разве что еще одно небольшое условие: полный, решительный и бесповоротный отказ от любых авторских прав. Как с младенцем от донорской мамаши: родила, отдала, забыла. И пусть его ходит-гуляет дите где-то по белу свету – сначала в коляске, потом своими ножками, а то и в белом лимузине с лазурными занавесками – чур не искать, справок не наводить... Да может, и помер он уже, ребеночек, на втором месяце от дифтерита – кто знает? Кому надо, тот и знает, только не мамаша-донор. Этой – заказано.

Тяжело, а? Мамаше-то, может, и тяжело, а вот Шломо – нисколечко. Потому как свои претензии на мировую славу он похоронил давно, не помнил даже когда. Скорее всего, и не было у него таких претензий с самого рождения. Точно, не было. Не в его это характере. Как есть он мелкий журналюга... да, в общем, и не журналюга даже, скорее – корректор, невеликая такая, легкозаменяемая техническая деталька в невеликом, легкозаменяемом механизме мелкой русскоязычной газетенки. В общем, не было у Шломо проблем с этим условием. Хотя иногда смерть как хотелось узнать – что с ним происходит, с Бэрлушкой ненаглядным, там – на другом конце провода? Небось, тискают его из номера в номер в каком-нибудь «Урюпинском Вестнике» или в «Питтсбургском Русачке», а то и в «Русопятом Новозеландце» или еще в какой параше... Бог весть, и слава Богу.

Так рассуждал себе Шломо, да и, по совести говоря, выбора у него не было – уж больно он тогда с деньгами зашился. Думал даже сменить свою работу в редакции на что-нибудь более денежное и менее вонючее – скажем, на должность уборщика в общественном туалете. Катька тогда снова потеряла работу, доченька дорогая как раз демобилизовалась и бредила путешествием в Латинскую Америку, машина сломалась, чеки возвращались, с потолка и из носа текло... короче, жизнь раем не казалась. Вот и схватился Шломо за благодетелево предложение, как пьяная шалава за соломинку. Так родился Бэрл. Вышел он молодцом на загляденье, просто вылитый Джеймс Бонд, аккурат для Урюпинска. Причем, чем гаже тогда было автору, тем круче мочил Бэрлушка своих супостатов. Такая вот интересная закономерность.

В общем, отправил он тогда Благодетелю первую порцию. А через пару дней пришел перевод. Так все и закрутилось

* * *

Шломо в задумчивости стоял на кухне, прикидывая варианты. Для виски было еще рановато, не говоря уже о коньяке. Водка?.. джин?.. текила?.. в девять утра все это решительно не канало. По-собачьи склонив голову набок, Шломо тщательно вслушался в себя... нет, даже портвейн не подходил. Оставалось пиво. Но пива как раз таки не было! Вздохнув, он полез в холодильник за кефиром.

Шломо Бельский проживал в земном пупе – Золотом Иерусалиме, а точнее – в одной из самых потных складок пупа, известной под названием «Мерказуха». Этот памятник архитектуры победившего сионизма более всего походил бы на муравейник, когда бы Великий Бог Зданий, смягчив свое каменное сердце, даровал ему чуть больше порядка и чуть меньше суеты, крикливой и бестолковой. Мерказуха была построена в новом иерусалимском квартале Гило в конце 70-х с благородной целью первоначальной абсорбции репатриантов. Подойдя к делу вполне идеологически, авторы проекта решили воплотить идею Алии архитектурными средствами. Прежде всего, они трактовали алию как сугубо индивидуальное в духовном плане дело, что отразилось в наличии отдельного выхода на улицу для каждой репатриантской семьи. Понятно, что реализация этого принципа в условиях большого четырехэтажного здания требовала огромного количества внешних лестниц. Но это не пугало вдохновенных архитекторов, тем более что обилие устремленных в синь иерусалимского неба ступенек прямо ассоциировалось с идеей алии как восхождения, а для особо образованных в еврейском вопросе порождало глухую, но многозначительную внутреннюю перекличку со знаменитой лестницей Иакова. В итоге получилось, что и говорить, кучеряво. Как известно, главным строителем древнего Израиля был царь Ирод. Возможно, поэтому многие жители Мерказухи именовали создателей своего жилища емким словом «ироды»...

Пока Мерказуха была молода, ей многое прощалось – и лестницы в том числе. Да и не предназначалась она для постоянного обитания. Слегка оперившись и научившись худо-бедно чирикать на иврите, репатриантские семьи выпархивали из нее, как из гнезда, навстречу своему светлому сионистскому будущему. А затем и вообще, как сказал поэт, «грянули всякие хренации». Русские вошли в Афганистан, мир, пожимая плечами, учил нелепые слова «баб-рак», «кар-маль»... кончилась репатриация. Опустела Мерказуха, обветшали, осыпались бетонные ступеньки знаменитых лестниц, заржавели железные перила, зашуршали мышки под задыбевшим линолеумом пустых комнат; только зимние ливни навещали их через прохудившуюся крышу, да нахальный западный ветер стучал в окно полуотвалившейся трисой. Прошла жизнь, отшумела, как крепдешиновое платье последней москвички, и поникла бедная Мерказуха, как нестарая еще вдова в безмужнем военном захолустье.

И когда казалось, что уже все – конец бедняжке, уже загорелые строительные подрядчики причмокивали толстыми губами на хороший участок, уже здоровенный амбал-бульдозер точил на нее свой хищный нож на соседнем пустыре – как – оп... вновь крутанулось над нами непонятное колесо, дернулись приводные ремни, скрипнули шестеренки, кто-то качнул лысым, чертом меченым лбом, кто-то начал, по-ставропольски упирая на первый слог, процесс, и процесс пошел, и пошел, и пошел... Началась Большая Алия 90-х. Мерказуху подремонтировали на скорую руку, залатали видимые миру раны, и загудела она пуще прежнего.

В числе прочих прибыл туда и Слава Бельский с женой Катей и десятилетней дочерью Женькой. Впрочем, к моменту прибытия в Мерказуху его уже звали Шломо. Произошло это по причине пересыхания горла у чиновника министерства абсорбции, заполнявшего в аэропорту бланки славиных документов. Чиновник был лыс, прокурен и сер от бессменных ночных вахт – олимовские рейсы прибывали тогда с головокружительной частотой. Мучительно отпершиваясь, он потянулся к стоявшей перед ним чашке остывшего кофе и, глотнув разок-другой, откинулся на спинку стула, позволяя себе минутное расслабление. Теперь, после того, как он отключил свой канцелярский автопилот, в нем даже появилось что-то человеческое.

«Значит, Вячеслав Бельский, – протянул он, насмешливо глядя на Славу. – Ты что, из бояр? Это твой дедок с Иваном Грозным переписывался?» «Нет, – жалобно ответил ему совершенно измученный и оттого также находившийся на автопилоте Слава. – Нет. Из Бельц мы, оттого и Бельские. А с Грозным Курбский переписывался... Курбский, а не Бельский».

«О'кей, – прервал его израильтянин и вернул чашку на место. – Не переписывался, и ладно. Да если и переписывался – не мое это дело. Максимум – ШАБАК спросит». Он улыбнулся. «Пусть будет Бельский. Но «Слава» – это уже чересчур, особенно в сочетании с Бельским. Давай запишем тебя «Шломо», а? Самое то, по-моему... Ну?»

Рука его зависла над бланком. Слава мучительно соображал. Неясные клочки мыслей прыгали в его гудящей голове по полотну огромного плаката, на котором аршинными буквами значилось: «ХОЧУ СПАТЬ!!»

«Ну что, решайте! – нетерпеливо подогнал его чиновник, переходя отчего-то на «вы». – Люди ждут». Знакомая формула вывела Славу из ступора, и он послушно кивнул. Ручка коршуном упала на бланк. Новоиспеченный Шломо дурак дураком вышел к жене и дочке. Сначала он комплексовал: как, мол, друзьям сказаться, то да се... А потом привык. Какая, в общем, разница? Хоть горшком назови, только в печь не ставь. В печь – не в печь, а в Мерказуху-то он угодил. Да так в ней и остался. Все как-то недосуг было съезжать на съемную квартиру, да и денег лишних не наблюдалось. А как пошла на убыль Большая Волна, и цены на жилье подскочили чуть ли не втрое, тут и подкатились власти к уцелевшим обитателям Мерказухи с заманчивым предложением. Мол, не купить ли вам, люди добрые, занимаемые вами квартирки, да по бросовой цене? Подумал Шломо, подумал, да и согласился. И то – какая ни есть конура, а своя. Да и прижились они тут как-то, все вокруг привычное, каждый угол знакомой собакой пахнет. Люди вокруг все свои, родные – Софья Марковна, Гриша с Ксюшей, Сеня... да мало ли...

Шломо допил свой кефир и стал собираться.

* * *

Час пик уже миновал, дети загнаны на школьные лавки, но утро еще держалось на пустых улицах Гило во всей своей зимней прозрачной иерусалимской свежести. Шломо кивнул знакомому шоферу и сел у окошка. Пришепетывая пневматикой и припадая на передние колеса, автобус спускался с крутой гиловской горы в сторону Пата. Черный поджарый BMW-кабриолет, торопясь «украсть» светофор, резко обогнал их справа, срезал угол, взвизгнул, хлопнул и, накатив на перекресток в последнее желтое мгновение, исчез в направлении Малхи.

«Видал этого придурка? – сказал шофер, призывая Шломо в свидетели. – Совсем сдурели, ездят, как хотят. И полиции нет на него, обрати внимание. Стоят где-нибудь, ма.ньяки, втюхивают почем зря рапо.рты честной шоферне...»

И досадливо замолчал, вспомнив сокровенное.

3

Бэрл торопился на встречу. На спуске с Гило какая-то дура тормозила его по левому ряду. Пришлось обгонять автобус справа. Срезав угол, он успел проскочить светофор почти вовремя и погнал дальше, в направлении Малхи.

Прошло уже почти 14 часов с момента его возвращения после амстердамского провала. Как и было предусмотрено чрезвычайной инструкцией, он расстался с «Ноа» до паспортного контроля, намеренно задержавшись, чтобы исключить любую возможность зрительного контакта со встречавшими ее людьми. Самого Бэрла не встречали. Взяв такси до Центрального автовокзала в Тель-Авиве, он погулял там с четверть часа и рейсовым автобусом вернулся в Иерусалим. Когда он добрался, наконец, до своей постели в доме на улице Шамир, сил у него осталось ровно на то, чтобы скинуть ботинки. Он заснул, не раздеваясь, ему снилась вывороченная шея Махмуда, голая «Ноа» с бейсбольной битой в руке и незнакомый утопленник на дне амстердамского канала.

* * *

Мудрец позвонил в половине девятого.

«Шалом, Бэрл, – сказал он, сильно картавя и растягивая гласные. – Как Ваша голова?»

«Не страшно, Хаим, – ответил Бэрл. – Мальчишки всегда набивают шишки. Но вы не волнуйтесь: мамочка прикладывает к моим синякам холодные пятаки и жалеет своего бедного крошку».

Мудрец хмыкнул: «Я так понимаю, что бо.льшую порцию жалости вы получили еще там».

Бэрл промолчал. С другого конца провода донесся неприятный смешок: «Э-э, да дело, видимо, серьезнее, чем я полагал...»

«Послушайте, Хаим, – сказал Бэрл, слегка выведенный из равновесия. – У меня нет ни малейшего понятия, о чем именно вы сейчас говорите. Этот факт, вкупе с некоторыми другими недавними событиями, наводит меня на мысль о том, что не вредно было бы нам потолковать о том о сем... и как можно скорее».

«Конечно, конечно, Бэреле, – заторопился Мудрец, – собственно, затем-то я и звоню...»

«Тогда какого же болта ты мне сейчас мозги компостируешь, старый ты мудозвон?!» – мысленно заорал Бэрл, но вовремя сдержался. Нет уж, жирно будет, такого удовольствия старому хрену он не доставит...

Он перевел дыхание и спросил: «Через час вас устроит?»

«Договорились», – ответил Мудрец несколько разочарованно.

Когда Бэрл подъехал к террасе ресторанчика в промышленной зоне на Гар-а-Хоцвим, Мудрец уже сидел там, меланхолически двигая по столу стакан тыквенного сока. Бэрл сел и заказал «Хейникен». Рассказ его занял не более десяти минут. Закончив, он залпом допил пиво и махнул повторить.

Мудрец молчал, изредка смачивая губы в своем стакане, маленький плюгавый старичок лет семидесяти, с венчиком пегих волос, окаймляющих обширную лысину. На седловине мясистого кривоватого носа плотно сидели массивные очки с неправдоподобно толстыми стеклами. Стекла были какие-то особенные, фигурные, с дополнительными накладками, и оттого спрятанные за ними глаза Мудреца превращались в далекие неуловимые точки, прыгающие туда-сюда в рамке роговой оправы.

«Вы знаете, Бэрл, – сказал он наконец. – Мы таки имеем не маленькую проблему. Вас в Амстердаме ждали, а это означает, что кто-то дал им информацию. Это во-первых».

Мудрец снял очки и потер переносицу. Обнаружились карие глаза навыкате. Лишенные многослойной стеклянной брони, они выглядели по-детски беззащитными.

«Во-вторых, – продолжил Мудрец, – вас не убили сразу, значит, рассчитывали вытрясти из вас кое-что новое. О чем это говорит?»

Он вернул очки на привычную позицию, и теперь его зрачки снова суетились, как две сумасшедшие белки. Бэрл молчал. Он вообще предпочитал не отвечать на дурацкие вопросы. Общение с Мудрецами требовало немалого терпения и выдержки, прежде всего из-за их преклонного возраста. Бэрл вздохнул и присосался к горлышку бутылки, всем своим видом показывая, что сотрудничать он не намерен. Не дождавшись ответа, Мудрец с неудовольствием хмыкнул.

«Я скажу вам, молодой человек, о чем это говорит. Это говорит о том, что утечка произошла во внешнем круге. Разумеется, возможно, затронуто и внутреннее кольцо, но вероятность этого невелика. Иначе вы бы уже плавали в Амстеле лицом вниз». Последнюю фразу старик произнес с видимым удовольствием.

«Фу, как мелко», – подумал Бэрл. Он зевнул и посмотрел на небо. «К вечеру дождь обещали, – рассеянно заметил он. – У вас как – кости не ломит? Я слышал, что к девяноста годам старики чувствуют изменение погоды лучше любого барометра...»

«Боюсь, что вам не суждено удостовериться в этом на личном опыте, – парировал Мудрец и обиженно нахохлился. – Вы и до моих-то шестидесяти семи не дотянете».

«Врет, собака, – подумал Бэрл. – наверняка ему под семьдесят пять». Внезапно ему стало смешно – нашел с кем заводиться. Он примиряюще улыбнулся. «Ладно, Хаим, не будем ссориться. Давайте-ка лучше прямо к делу, чего там петлять вокруг да около».

Мудрец погрустнел еще больше. «Видите ли, Бэрл, – произнес он, потупившись и глядя в сторону. – Дело и в самом деле неприятное. С одной стороны, вовлечено не так уж много людей. Во внешнем круге операция касалась всего пятерых, из них двое – исполнители...»

«Кстати, что со вторым?» – прервал его Бэрл.

«Мертв, как и следовало ожидать, – кивнул старик. – Сегодня утром полиция обнаружила тело…»

Он вздохнул и выложил на стол дискетку. «Вот досье на всех пятерых».

Бэрл молча сунул дискетку во внутренний карман куртки.

«Поверь, Бэреле, – продолжил Мудрец, – мне крайне неприятно возлагать на тебя эту грязную работу, но обстоятельства не позволяют использовать кого-нибудь другого. Ты уже засвечен в этом деле, тебе и разгребать».

«Полномочия?» – спросил Бэрл, ощущая непонятный подъем, не вязавшийся с похоронным настроением Мудреца.

Старик вздохнул. «Я вижу, ты не совсем меня понял. У нас нет времени на выяснение вопроса – кто именно из пятерых является источником. Поэтому Совет не будет возражать против любого решения, даже если пострадают невиновные».

«Секундочку, – сказал Бэрл, не веря своим ушам. – Вы хотите, чтобы я убрал всех четверых? Даже если они свои в доску?»

Мудрец поднял голову и распрямился. Теперь его прыгающие зрачки скакали прямо по бэрловому лицу. «Да, – сказал он твердо. – Да. Именно так, уважаемый Бэрл. Если вы хотите видеть Протокол, я могу вам его представить».

Некоторое время оба молчали. Затем Мудрец протянул руку и вынул газету из висящей на спинке стула сумки. Он развернул ее на нужном месте и протянул Бэрлу.

«Не знаю, успели ли вы просмотреть сегодняшние газеты... взгляните...»

Бегло просматривая газетный лист, Бэрл не сразу обратил внимание на маленький заголовок в углу. «Смерть в Амстердаме». Ну-ка ну-ка...

«Вчера, около семи часов вечера, французский финансовый магнат Жак Фредж был доставлен в больницу с тяжелым инфарктом. Сообщается, что он умер, не приходя в сознание. Ливанец по происхождению, Фредж приобрел скандальную известность своими связями с торговлей оружием и открытым финансированием террористических организаций. Обвиняли его и в причастности к отмыванию исламских наркоденег из Афганистана, Ливана и Сирии…»

Бэрл вопросительно посмотрел на Мудреца. Тот кивнул.

«Ваш клиент. В Амстердаме у вас был дублер, как всегда. Вы же знаете, мы никогда не кладем все яйца в одну корзину. Нельзя было позволить Фреджу заключить эту сделку...»

Это не было для Бэрла особенной новостью. Он и сам нередко исполнял роль дублера, не зная об этом до самой последней минуты. Итак, дело сделано. И слава Богу. Он испытывал смешанное чувство ревности и облегчения от сознания того, что его личный провал не повлиял, в конечном счете, на результат.

Мудрец смущенно кашлянул, выводя его из раздумья.

«Я только хотел напомнить тебе об этом, Бэреле. У тебя всегда есть дублер. Всегда. И в этом деле – тоже». Он ткнул пальцем в направлении кармана бэрловой куртки, где лежала дискета.

«Сделай то, что надо и побыстрее, иначе это сделают за тебя. Мы не можем рисковать». Мудрец встал.

Бэрл лихорадочно соображал. «Подождите, Хаим, – остановил он старика. – Я могу попросить вас об одном одолжении? Дайте мне неделю. Всего лишь одну неделю».

«Зачем тебе неделя, ингеле? – мягко спросил Мудрец. – Что ты успеешь, один, за эту неделю?»

«Если я найду вам источник, не надо будет убирать остальных, – сказал Бэрл, глядя в сторону. – Зачем вам лишняя кровь?»

«Остальных... – эхом отозвался Мудрец. – И ее, в первую очередь...»

Он покачал головой и взял сумку.

«Три дня. Я даю тебе три дня. Поверь мне, и это – чересчур. Ты ведь прекрасно знаешь, во что обходятся нарушения Протокола... Но имей в виду – на четвертый день в дело включается дублер».

Подшаркивая, он обошел стол и погладил Бэрла по плечу. «До свидания, ингеле. Постарайся не совершать глупостей».

* * *

Бэрл остался сидеть на террасе, задумчиво вертя в руке пустую пивную бутылку. Наконец он поднялся, положил на стол банкноту и медленно пошел к выходу. Бармен окликнул его изнутри: «Эй, приятель!»

Бэрл обернулся. «Не грусти, все образуется», – крикнул бармен и жизнерадостно заржал.

Бэрл покрутил головой. Видать, и впрямь, дело – не фонтан. Он вошел внутрь кафе и сел у стойки. Бармен, ухмыляясь, глядел на него. Кафе было пусто в этот неопределенный час между завтраком и ланчем.

«А есть ли у тебя «Мартель», бижу? – спросил Бэрл. – налей-ка мне порцайку».

«Квартиру у него покупаешь? – осведомился бармен, наливая коньяк в широкий низкий бокал. – Не стоит. Я у этого деда даже пердячий газ покупать бы не стал, хотя это, вроде, единственный качественный продукт, который он может предложить».

И он снова заржал, по-лошадиному качая головой и постукивая по стойке короткопалыми верхними конечностями.

«Это почему же?» – спросил Бэрл, пересиливая раздражение.

«Да ведь сразу видно – жук он! – сказал бармен, отсмеявшись. – Жучила, каких мало. Ты бы у него под пальтом проверил – у него ведь там, небось, панцирь, как у скарабея. А глазки-то, глазки, – так и бегают... и каждый сам по себе. Жук, одно слово».

Бэрл молча допил коньяк и потянулся за салфеткой. Так же молча он сложил салфетку вдвое и широким жестом припечатал ее к стойке прямо перед барменом. «Получи, бижу, – сказал он, вставая со стула и направляясь к выходу. – Сдачи не надо».

«Эй, приятель, – завопил бармен, опомнившись. – А кто платить будет?»

«Ты что, сдурел? – нахмурился Бэрл. – А это что?» Он указал на салфетку.

«Это ты шутишь так, да? Это же не деньги!»

Бэрл вразвалку вернулся к стойке и взял бармена за локоть.

«Послушай, бижу, – сказал он почти ласково. – Я согласен, что это не деньги. Но и то, что ты налил мне в стакан, тоже трудно назвать «Мартелем». Посмотри мне в глаза, бижу, и скажи, что я не прав. Ну? Что же ты молчишь, большеротый?»

Бармен и в самом деле не находил слов, разевая рот, но не издавая ни звука. Доводы Бэрла звучали достаточно веско, но еще убедительнее была железная хватка бэрловых пальцев на нервных узлах локтевого сустава.

«Надеюсь, ты не обидишься, бижу, если я истолкую твое молчание как знак согласия?» – спросил Бэрл и ослабил хватку. Бармен поспешно кивнул.

«Вот и славно, – заключил Бэрл, отпуская барменский локоть. – Но предупреждаю тебя на будущее, бижу. Если ты еще раз нальешь мне местную бурду вместо «Мартеля», это меня очень разочарует. Очень. Будь здоров».

Бармен молча смотрел ему вслед. Он видел как Бэрл пересек террасу, спустился по ступенькам на улицу, сел в свой кабриолет, как он тронул и, педантично остановившись на «стопе», вырулил на главную дорогу.

Лишь после того, как черный задок машины окончательно скрылся из виду, бармен взял оставленный Бэрлом бокал и задумчиво взвесил его в руке. Потом он облизнул губы и тихо сказал одно только слово: «дерьмо».

Потом он подумал и добавил еще тише: «Тебя бы на мое место, дерьмо, со всеми этими сраными налогами, дерьмо, посмотрел бы я, как ты крутился бы. Дерьмо».

* * *

Вернувшись домой, Бэрл включил компьютер. Ее звали Дафна, эту «Ноа». Дафна Шахар, 21 год, город Ашдод; два года службы в пограничных войсках; учится на подготовительных курсах в Тель-Авивском университете.

Ее напарник, Гай Царфати, 26 лет, житель Лода, демобилизованный лейтенант «Голани»; после армии больше года болтался по Латинской Америке; в настоящее время – без определенных занятий. Был без определенных занятий...

Оба они, Дафна и Гай, подрабатывали в частной сыскной конторе «Стена». Владельцами «Стены» числились два других героя досье – Ави Коэн, 37 лет и Арик Зисман, 42, оба – выходцы из элитных боевых частей, у обоих – по нескольку лет работы в израильской полиции, Зисман к тому же в течение трех лет подвизался в качестве военного советника в Нигерии.

Пятый, Исраэль Лейбович, 69, уроженец Польши, чудом уцелевший в Катастрофе, проживал в Хайфе на скромную пенсию бывшего кладовщика Электрической Компании.

Покончив с досье, Бэрл плеснул себе коньяку и вышел на балкон. Грея бокал в руках, он обмозговывал ситуацию. Как и следовало ожидать, схема была простой и эффективной. Лейбович получал задание от Мудрецов, скорее всего, не напрямую, а через одного или двух посредников. Затем он передавал детали агентству «Стена». Ави и Арик задействовали своих дешевых агентов. Учитывая простоту задачи – тут снять гостиничный номер, там оставить конверт в камере хранения, все выглядело достаточно невинно, и не вызывало никаких опасений у будущей студентки и ее несчастливого напарника. Скорее всего, хозяева «Стены» толкали им какую-нибудь ляльку о слежке за обманщицей-женой... Бэрл покачал головой, представив себе изумление Дафны при виде вломившихся в комнату арабов...

Впрочем, и Ави с Ариком знали немногим больше. Правда, в отличие от Дафны и Гая, они могли догадываться об истинных целях операций. Постфактум, по сообщениям газет, типа сегодняшней «Смерти в Амстердаме»... Бэрл вздрогнул. Вот оно! Для Исраэля, Арика и Ави операция прошла успешно. Они не должны были знать, что, на самом деле, задачу выполнила дублирующая группа. Нельзя ли сыграть на этом?

Бэрл опустил лицо к бокалу. Теплая щекочущая виноградная волна хлынула в его ноздри. Он закрыл глаза. План уже наклевывался у него в голове, как первый стук робкого мягкого клюва по внутренней поверхности яйца.

4

Шломо ждал Сашку Либермана на углу Кошачьей площади. Они договорились пообедать в расположенном неподалеку грузинском ресторанчике. Сашка опаздывал, и Шломо нервничал, поминутно поглядывая на часы. Обеденный перерыв подходил к концу. Обычно такие мелочи мало волновали работников «Иерусалимского Вестника», но неделю назад в газете сменился очередной редактор – пятый за последние два года, и это естественным образом вызвало прилив дисциплинарной активности. Шломо вздохнул. С другой стороны, договариваясь с Сашкой, смешно было рассчитывать на какие-то временные рамки, так что – кончай мохать, парень, лучше покорись судьбе, целее будешь. Шломо еще раз вздохнул и покорился. И действительно, сразу как-то полегчало. Он еще раз прошелся по маленькой площади, разглядывая молодую веселую тусовку вокруг лотков с бусами, браслетами и прочей культовой молодежной бранзулеткой.

Ему вдруг вспомнился Питер семидесятых и дымный «Сайгон», где прошла их с Сашкой прекрасная юность; подружек с болгарскими сигаретками «Родопи» на отлете изящного одрихэпбернского жеста; их самих, небрежно перекатывающих по углам презрительного рта круто заломленную «Беломорину»; крашеные джинсы-самопалы, битлов, сухое вино, белые ночи, кухонные споры, самиздат, дикие молодые пьянки с приключениями... «Эй, Славик!» – окликнул его сашкин голос, окликнул оттуда, из щемящих глубин тридцатилетней давности, с угла Невского и Владимирского.

«Эй, Славик!» – Шломо вздрогнул и обернулся. Конечно... какой, к черту, угол Невского... Вот он Сашка, собственной персоной, во плоти и крови, поспешает вниз по улице Йоэль Мойше Соломон, вот он выкатывается на Кошачью площадь, пыхтя и виновато разводя руками, издали бормоча пока не слышные Шломо слова оправдательной речи по поводу своего получасового опоздания. «..крыли все движение на Яффо... очередной подозрительный предмет... пришлось пешком, даже бежал три квартала... Ну привет, чувак.…» Они расцеловались.

Как это происходило всегда, при виде Сашки шломина злость стыдливо скукожилась и убежала прятаться. Их знакомство началось лет тридцать тому назад, в восьмом классе сосново-полянской школы, куда Сашка пришел, переехав вместе с родителями из коммуналки на Герцена. Единственные евреи в классе, они быстро сошлись, но вехой, отмечающей начало их настоящей дружбы, оба считали драку осенью 73-го, когда на перекуре в школьном дворе Мишка Соболев сказал им с растяжкой, через слово сплевывая сквозь редко поставленные зубы: «Ну что, жиды, пригорюнились? Щас-то вам болты ваши обрезанные поотрывают...» И все вокруг засмеялись, включая девочек. В Земле Израиля грохотала Война Судного Дня, и советская пресса радостно хоронила «сионистское государство».

Сашка полез в драку, не раздумывая. Шломо присоединился к нему вторым номером, не очень, впрочем, понимая, зачем он совершает столь безрассудное, ввиду явного неравенства сил, действие. Как и следовало ожидать, их побили, не сильно, но унизительно, на глазах у всей школы. Когда они отмывали в туалете грязь, кровь и сопли с разбитых лиц, Сашка сказал глухо: «У меня там сейчас старший брат. Танкист». И снова сунул под кран свою кактусообразную курчавую голову. Так в шломину жизнь вошел Израиль, страна, существование которой он никогда до того не связывал с собой лично.

Потом они поступили в один и тот же вуз на избранную из практических родительских соображений специальность, не имевшую никакого отношения ни к уму ни к сердцу обоих. На последнем году, как раз перед дипломом, Шломо женился по беспамятной любви на красавице Кате Блейхман, со второго курса факультета машин и приборов. Женился еще и потому, что проект под названием «Женька», свет очей и радость жизни, уже наклюнулся в недрах неосмотрительного Катькиного живота.

Потом пошла обычная безысходная советская бодяга: жилищный вопрос, безденежье, тупое и бесплодное инженерство, безденежье, мучительные перемещения в потном набитом метро, безденежье, летние халтуры, тяжкий и выматывающий быт. На этом этапе пути друзей несколько разошлись. Холостой Сашка ударился в религиозный сионизм, бегал от КГБ, учил иврит, щеголял в не снимаемой ни при каких обстоятельствах кепочке и демонстративно отказывался от пива в Песах. Шломо же было как-то не до того. Слушая друга с подобающим уважением и даже время от времени кивая, он, тем не менее, в принципе не мог представить себе обстоятельств, оправдывающих добровольный отказ от пива.

Смешно, но в Израиле Шломо оказался прежде Сашки. Решение об отъезде он принял, по своему обыкновению, рывком, не отвлекаясь на долгие раздумья и взвешивания. Так он в свое время женился, так, еще раньше, прыгнул на Мишку Соболева в той приснопамятной драке. «Есть решения, к которым идешь всю жизнь, – так объяснял Шломо свою преступную легкомысленность. – Что уж тут обдумывать – и так все ясно». Все смотрели на него, как на идиота. В самом деле, кто ж едет в Израиль без мотоцикла?.. без пианино, на худой конец?..

В противоположность своему легковесному другу, Сашка готовился к отъезду долго и обстоятельно. Главной причиной задержки была необходимость жениться. Все в один голос утверждали, что ехать в Израиль одному совершенно не с руки. И хотя в свои тридцать три года был Сашка парень хоть куда, трудно жениться закоренелому холостяку. К тому же дело сильно осложнялось тем, что, в дополнение к обычным параметрам, невеста должна была иметь хотя бы минимальное понятие об иудейских религиозных обычаях. Помыкавшись около года, Сашка, наконец, женился. Дорога на Землю Предков была открыта.

В аэропорту Бен-Гурион его встречал родной Славка с чужим именем, чужой старший брат с именем родным и команда старых безымянных знакомцев по родным подпольным кружкам, все в кипах и при прежнем сионистском задоре. Сашка почувствовал себя витязем на распутье. Он пожил с месяцок у брата в Кфар-Сабе, кернул как следует со Шломо в Мерказухе, да и перебрался к своим кружковцам, в дальнее поселение Долев, к северу от Рамаллы, навстречу новой неизведанной жизни, ставшей, тем не менее, логическим продолжением прежнего диссидентства.

С тех пор они виделись нечасто. Когда Сашка, шумный, загорелый, кипастый, в клетчатой поселенческой рубахе навыпуск и с потертым «Узи» через плечо заявлялся к старому другу в Мерказуху, вслед за ним в железные двери мерказушного апартамента заскакивали непрошеные, незнакомые прежде недоразумения, отчего-то катастрофически мешавшие нормальному общению. Прежний отказ от пива в Песах трансформировался у нового Сашки в кашрут по всей форме. Так что застолья не получалось. А много ли пообщаешься без бутылька с закусоном? Ездить же в Долев – еще двадцать раз подумаешь... Путь неблизкий, да и страшновато как-то с непривычки. В те времена машины еще не обстреливали, но камни уже кидали, а то и бутылку с зажигательной смесью схлопочешь. Неприятно. Да и, честно говоря, Сашкина боевая подруга не очень-то Бельским показалась. Чужая какая-то... и губы на них, некошерных, поджимает. В общем, в гости не ходили, больше перезванивались.

Разве что шломина газетенка с грехом пополам удерживала этот почти развязавшийся узел. Дело в том, что Сашка пописывал. Забросив, как и Шломо, свою совковую инженерность, он прилепился к какому-то национально-религиозному издательству, редактируя на американские спонсорские деньги всевозможные брошюрки и книжки, подобные тем, что передавались в свое время из рук в руки в подпольных еврейских кружках. Параллельно с этим он состоял внештатным корреспондентом сразу нескольких «русских» газет, сея разумное, доброе, вечное на их обильно удобренных антигеморройной рекламой страницах. Сашкины статьи были напряженно-патриотичны. Он ругал правительство, причем, если левому доставалось по определению, то правому – за недостаточную правость; он разоблачал лживость и двуличие; он грозно клеймил, он едко высмеивал, он остро полемизировал; не было такой маски во всем политическом израильском балаганчике, которую бы не сорвала его безжалостная рука...

Шломино участие в политической полемике ограничивалось областью грамматики и синтаксиса. По многолетней привычке он относился к общественным процессам, как к погоде, со спокойным, наблюдающим фатализмом. Процесс выборов всегда был для него мучителен – в самом деле, имеет ли смысл голосовать за дождь? или за солнце? В итоге он, как правило, голосовал за тех, кто обещал меньше всего решительных перемен к лучшему. Правя сашкины статьи для «Иерусалимского Вестника», он особо не вникал в их привычное содержание. На вопросы – как понравилось – отвечал обычно, что да, понравилось, только вот на его, шломин, вкус, следовало бы смягчить излишнюю резкость высказываний, чему, впрочем, Сашка не следовал никогда.

Так они и жили, пока, наконец, поток сашкиных опусов не оборвался резко и необъяснимо. Поначалу Шломо, не читавший никаких газет, полагал, что Сашка отдает предпочтение другим изданиям, обходя «Вестник» по каким-то своим, одному ему известным соображениям. Лишь много позже, когда общие знакомые стали недоуменно осведомляться, куда это запропал Саша Либерман, он понял, что происходит какой-то нестандарт и позвонил Сашке. В ответ на заданный в лоб вопрос Сашка, помолчав, ответил: «Кризис жанра. Потом расскажу…» – и перевел на другое.

И вот сегодняшним утром, придя в редакцию и включив компьютер, Шломо обнаружил почту от Сашки. Почта содержала файл со статьей и короткий сопроводительный текст в три слова: «Позвони, когда прочтешь».

Прочтя статью, Шломо не стал звонить. Он поискал сигареты и, не найдя их на привычном месте, пошел стрелять у выпускающего редактора.

«Что, опять? – удивился выпускающий. – Ты ж уже год как бросил...»

«И в самом деле...» – вспомнил Шломо и вернулся к своему компьютеру. Избегая смотреть на экран, он начал наводить тщательный флотский порядок на вверенном ему столе.

«Шломо! – звенящим шепотом сказала секретарша Леночка. – Шломо! Что случилось?» Шломо не реагировал. Впервые за шесть лет работы он убирал свой стол, ставший притчей во языцех именно по причине своей принципиальной, уникальной, фантастической никогда-не-убираемости. Леночка смотрела на него с ужасом, как на инопланетянина. Закончив уборку, Шломо сел за стол и произвел последние взаимные перестановки калькулятора, словаря и стаканчика для ручек. Потом немного подумал и переставил их еще раз, в обратном порядке. Потом он затих и просто посидел минуту-другую, глядя на пустую поверхность стола, как тяжелоатлет, ухватившийся за гриф штанги и собирающий всего себя в единый комок воли перед последним, решающим штурмом. Затем, неимоверным физическим усилием оторвав взгляд от помоста, он вытолкнул его на экран монитора, где по-прежнему красовалась статья его лучшего друга Сашки Либермана.

Он прочитал текст еще дважды и позвонил. Сашка снял трубку. «Славик? – угадал он. – Славик? Ну не молчи, говори что-нибудь…»

И впрямь, подумал Шломо, надо бы что сказать. Как-никак.

Он сказал: «Ты...» Потом сделал паузу и прибавил нецензурный глагол.

Сашка несколько нервно рассмеялся: «Эк тебя проняло!»

«Да уж... – дар речи медленно возвращался к Бельскому. – Да уж...»

«Послушай, чувак, какой-то ты заторможенный сегодня – сказал Сашка, беря инициативу. – Давай-ка пообедаем вместе? В «Кенгуру». Что скажешь? В два, на Кошачьей площади. А? Обещаю ответить на все вопросы...»

«Да уж, – сказал Шломо. – В два».

* * *

Иерусалимские кафе переживали не лучшие времена. После серии терактов на центральных улицах люди предпочитали сидеть дома. Шломо и Сашка были единственными посетителями в этом популярном некогда ресторанчике. Они уже переговорили о здоровье, о женах, детях, перемыли косточки общим знакомым, посетовали на экономический спад... Оставалось поговорить о погоде. Нетерпеливый Сашка сломался первым.

«О'кей, Славик, – сказал он, будто отодвигая занавеску. – Давай не будем о погоде... Что ты думаешь о статье?»

«Не знаю, – сразу ответил Шломо. – Я просто не знаю, что мне об этом думать. Если все это, конечно, не шутка. Если это не хитроумная пародия на левую публицистику. Мол, смотрите, до какого абсурда можно дойти...»

«Что же показалось тебе абсурдным?» – Сашкин взгляд знакомо взъерошился, как всегда перед началом принципиального, по его мнению, спора.

«Ну как... – протянул Шломо, сосредоточиваясь. – Возможно, слово «абсурд» тут действительно не подходит, но, по крайней мере, о полном выпаде из консенсуса можно говорить точно. Смотри – сейчас даже многие арабы не приравнивают сионизм к расизму. А по-твоему выходит, что это – близнецы-братья...»

Сашка тряхнул головой: «Конечно, Славочка, а как же иначе? Это ведь как дважды два! Расизм – это разделение по расовому признаку, так? Это – раз. Сионизм – это государство только для евреев, а чтоб другие – ни-ни, так? Это – два. Что получается? – Расизм в чистом виде! Разве не так? Ну скажи, разве не так?»

Шломо мучительно скривился и пожал плечами.

«Что же ты молчишь? – возбужденно додавливал его Сашка. – Разве за это мы боролись в совке? Мы там за права человеческие боролись, а не за «евреи – прямо, арабы – налево»... Ну?»

«Не знаю, – ответил Шломо. – Это ты тогда за права боролся. Я боролся за существование. Я тогда выживал, Катьке с Женькой молоко таскал в клювике...»

«Неважно», – перебил Сашка, но Шломо остановил его:

«Отчего же неважно? Может, в этом-то и дело, Сашок? В выживании? Видишь ли, с точки зрения выживания все эти высокие материи как-то не канают. Нет, я тебя, конечно, понимаю – права личности и все такое... Но это все как-то умозрительно, а кровь – она вот, живая, наощупь – липкая...»

«Что ты такое говоришь! – всплеснул руками Сашка. – Ты сам-то слышишь, что ты несешь? Права личности и все такое? Да как ты можешь? Да если хочешь знать, нет ничего важнее...»

Его понесло. Запрокинув лоб и тыча в пространство указательным пальцем, он говорил о светлых, истинных ценностях, о слезинке ребенка, о стихийном людском братстве; он вопрошал: по ком звонит колокол? – и, разумеется, отвечал; он клеймил низких, равнодушных филистеров, с чьего молчаливого согласия... и еще, и еще – все дальше и дальше от Шломо, вниз по широкой реке красноречия, плавно и сильно текущей в кисельных берегах его возбужденного воображения. Шломо смотрел на друга, не слушая уже, а только впитывая его всей силой набухающего в сердце сострадания.

«Боже мой, – думал он. – Боже мой, что же будет... Что же с ним будет... Что будет...»

Вдруг он осознал, что Сашка уже давно молчит и смотрит на него выжидающе, видимо ожидая ответа на какой-то безнадежно пропущенный, прослушанный вопрос. Глядя в сторону, чтобы скрыть подступающие слезы, Шломо сказал: «Ну ладно, Бог с ним, с сионизмом. Но как ты дошел до того, что иудаизм – религия фашистов? Ты, верующий человек, с кипой на голове? Ну не дикость ли?» Он поднял взгляд на Сашку и осекся. Тот сидел напротив, улыбаясь с видом фокусника, демонстрирующего публике загаданного туза. Сашка снял свою вечную кепочку и, держа ее в одной руке, другою указывал на свою курчавую шевелюру. Кипы на его голове не было. Шломо застонал и закрыл глаза.

«Как же ты не понимаешь... – продолжал Сашка, улыбаясь светлее солнца. – Тут нельзя наполовину. Видишь ли, я сравнил иудаизм с фашизмом по основным параметрам. И что ты думаешь? Результаты просто поразительные. Они практически совпадают, даже в малом. Смотри: фашизм мистичен, апеллирует к древней традиции, культивирует вождизм, национализм и ксенофобию, не терпит критики, подавляет плюрализм. То же самое, в точности, можно сказать и об иудаизме! Ну ты ведь читал, в статье все это раскрыто подробно. Разве не убедительно?»

«Если честно, то – нет, не убедительно, – устало ответил Шломо. – Можно возразить тебе многое по каждому пункту в отдельности. Даже мне, профану в этих делах, видны натяжки и преувеличения. Что уж говорить о специалистах – дай им только в руки этот текст, и они камня на камне не оставят от всей твоей аргументации, пункт за пунктом. По-моему, ты просто увлекся...»

Сашка молчал, насупившись. Шломо вздохнул. «Ты твердо намерен это публиковать?» Сашка кивнул. Он сидел, зажав в кулаке свою кепочку – упрямый обиженный сорокапятилетний ребенок. Шломо встал и пошел к стойке. Когда он вернулся с графинчиком чачи и двумя стопками, Сашка сидел все в той же позе, упрямо и вызывающе уставившись в стену напротив. Шломо налил. «Не думаю, что это кошерно, – сказал он шутливо. – Ну да тебе теперь ведь все равно». Сашка не улыбнулся. Они выпили, как было заведено у них издавна – по две, вагон с прицепом. Помолчали. Шломо налил еще.

«Я вот чего не понимаю, – сказал он. – Разъясни ты мне, дураку. Как ты дальше жить собираешься? У тебя же все приводные ремни к этому делу присобачены: работа, дом, друзья, семья наконец... Куда ты теперь пойдешь, горе ты мое луковое? Ты с женой уже разговаривал?»

Сашка мотнул отрицательно.

«Ну вот. Она же тебя выпрет, дурака, как пса паршивого. У тебя же двое детей малых, Саня... Ну что ты киваешь, как китайский болванчик? Скажи что-нибудь...»

Сашка вдруг быстро выпил, налил и выпил. Раз-два, вагон с прицепом. Потом он обратил к Шломо невидящее, мокрое от слез лицо и судорожно вздохнул.

«Эх, Славик, ты думаешь, я всего этого не знаю? Я просто не могу больше, понимаешь? Я просто не могу». Он сгреб салфетку и высморкался. Графинчик кончился.

* * *

Самолет опаздывал. Катя, хотя и знала об этом, приехала в аэропорт намного раньше времени, как будто рассчитывая приблизить тем самым долгожданную встречу с Женькой. Она загнала свой старенький «Уно» на полупустую стоянку Бен-Гуриона.

Еще два-три года назад здесь приходилось ездить кругами, ожидая, когда уже кто-нибудь освободит тебе место. Война решила проблему парковки кардинально.

Шломо должен был подъехать на автобусе из Иерусалима, и Катя, держа остановку в поле зрения, пристроилась с книжкой на свободной скамейке. Подошел автобус. Шломо вышел последним и огляделся, крутясь вокруг собственной оси, подобно собирающейся улечься собаке.

«Эй! – крикнула Катя. – Эй!.. Слава!» Он еще немного подергал головой и наконец сфокусировался в ее направлении.

«Ничего себе, – подумала Катя, глядя на приближающегося преувеличенно твердой походкой мужа. – Это в честь чего же мы так набрались?»

Подойдя вплотную, Шломо церемонно кивнул, поцеловал ее руку бережным мокрым поцелуем и лишь после этого плюхнулся на скамейку.

«Катенька, – объявил он решительно. – Если б ты знала, как я тебя люблю!»

«Я знаю, Славик, – сказала она и погладила его по щеке, – Что случилось, ласточка? Где это ты так нагрузился?»

«Сашка. – сказал он. – Ты себе не представляешь... Просто катастрофа...» Он замолчал, крутя головой из стороны в сторону с каким-то особенно безнадежным выражением. «Нет. Я тебе потом все расскажу. Давай лучше Женечку встретим, – он беспокойно оглянулся, ища часы. – А чего это мы здесь сидим-то? Разве не пора?»

«Сиди уже, – рассмеялась она. – Алкаш ты мой ненаглядный. Рейс опаздывает на два с половиной часа. Так что давай, выкладывай – чего это там с Сашкой твоим произошло».

Шломо вздохнул и начал выкладывать. Катя слушала, кивая головой.

«Ты знаешь, меня все это почему-то не удивляет, – отрезала она сердито. – Я всегда знала, что мудак он, твой Саша. И сволочь». В отличие от аполитичного Шломо, Катя имела о происходящем вполне определенное мнение.

«Подожди, Катя, – сказал Шломо, страдая. – Почему ты отказываешь ему в праве на инакомыслие? Почему сразу – сволочь?»

«Почему? Ты еще спрашиваешь почему? Да потому что нас взрывают на улицах! Потому что Гило, в котором, между прочим, живет твоя собственная семья, обстреливают из Бейт-Джаллы наобум святых из крупнокалиберных пулеметов! Потому что твоя собственная дочь подвергается ежедневной опасности, надевая армейскую форму! Подлец он и предатель...»

«Катя, Катя, подожди, – прервал ее Шломо. – При чем тут наша дочь? Она демобилизовалась год тому назад».

«Ну и что? Ты забыл, как мы ночами не спали, как ждали ее звонков из этого чертового Бейт-Эля? Как нас в дрожь бросало от шагов на лестнице? Какая сволочь!»

Шломо понял, что спорить бесполезно. «Хорошо, – сказал он. – Будь по-твоему. Хотя я по-прежнему не вижу никакой связи между обстрелами Гило и сашкиными взглядами на сущность сионизма. Оставим их, эти взгляды. Речь идет о моем старинном друге, который вот-вот окажется на улице безо всяких средств к существованию. Это ты понимаешь?»

«Погоди-ка... – вдруг поняла Катя. – Ты хочешь притащить его к нам жить? В наши две с половиной комнаты? Именно сейчас, когда Женечка возвращается? Ты что – сбрендил?» Она даже встала и прошлась туда-сюда параллельно скамейке с уронившим голову на руки мужем.

«Уму непостижимо...» Она сердито всплеснула руками и села. Шломо молчал. Катя вздохнула. «Ладно, Бельский, что уж с тобой сделаешь. Все равно ты мне плешь проешь с этим идиотом... Пусть приходит. Но руки я ему не подам, так и знай».

Шломо кивнул. «Спасибо, Катюня. И за что мне такое счастье с женой выпало? Другой такой как ты нету».

«Это верно, – печально согласилась она. – Такую дуру еще поискать. Пойдем хоть кофе попьем...»

Потом, когда они уже стояли в зале прибытия, нетерпеливо и радостно высматривая Женьку, к ним подошла высокая худая очкастая женщина в элегантном брючном костюме и с огромным количеством дутых золотых браслетов.

«Прошу прощения, – сказала она церемонно. – Вы, видимо, родители Жени?» Она произнесла «Дженьи».

«Да, – ответила Катя. – А вы, конечно, мама Гиля? Очень приятно познакомиться».

Гиль был Женькиным бой-френдом, с которым она тусовалась вот уже два года, включая эту поездку по Латинской Америке. Шломо улыбчиво закивал, мучительно соображая, что бы такое сказать, как вдруг новая знакомая сама вывела его из затруднения.

«Вот они, вот они... выходят!» – воскликнула она и рванула навстречу умопомрачительно молодой, сногсшибательно красивой и неправдоподобно загорелой паре, враскачку вплывающей в зал во всем великолепии своих разноцветных косичек, деревянных индейских бус, костяных гребней и где только не рваных джинсов. Не добежав двух шагов, гилева мамаша раскинула руки, отчего ее браслеты издали согласный, торжественно-фанфарный звон, и театрально воскликнула на весь зал: «Добро пожаловать в ад!».

Шломо изумился и пошел целовать Женьку.

5

Машину он брал в занюханном прокатном бюро в Ришоне. Клерк скользнул взглядом по предъявленным Бэрлом водительским правам на имя Шимона Барталя и попросил кредитную карточку. Бэрл замялся.

«Послушай, бижу, – смущенно сказал он. – У меня нет кредитки».

«Сожалею, – сказал клерк, напрягшись. – Мы выдаем машины только по предъявлению кредитной карточки».

Бэрл покашлял, демонстрируя полное замешательство: «Видишь ли, бижу, я не могу позволить себе кредитку. Я – игрок. Сам понимаешь, кто же заходит в казино с кредиткой в кармане...»

В глазах клерка мелькнуло сочувственное понимание. «О'кей, – сказал он. – Но и вы должны нас понять, господин Барталь. Нам тоже нужен какой-нибудь залог на тот или иной пожарный случай...»

«Нет проблем, – сказал Бэрл, широко улыбнувшись. – Я внесу залог наличными. Десять тысяч вас устроят?»

Клерк моргнул. «Послушай, бижу, – сказал Бэрл. – Кончай ты с этим триллером. Я всего-то хочу доехать до Эйлата со своей несчастной подружкой, просадить всю свою наличку и мирно вернуться в Тель-Авив. Назови свою цену или я просто уйду».

«Подождите секундочку, пожалуйста», – сказал клерк и ушел советоваться за занавеску.

«Пятнадцать», – объявил он, вернувшись.

Бэрл обиделся. «Борзеть-то не надо, да? Что я вам, – фраер? Не хотите, как хотите...» Он сгреб свои документы со стола.

«Подождите...» – остановил его клерк.

Спустя полчаса Бэрл уже выезжал на перекресток Бейт-Даган в слегка раздолбанном, но еще живом «Опель Вектра». Ленивый послеполуденный траффик выплюнул его с Аялона в районе бульвара Роках. Проехав еще пару светофоров, Бэрл припарковался напротив задних ворот Тель-Авивского университета.

Она вышла около четырех, одна и направилась к автобусной остановке. Бэрл тронул машину. Подъехав к остановке, он открыл правую дверь и спросил, обращаясь в пространство: «Кто-нибудь может объяснить мне, как проехать в Пардес Кац?»

«А стоит ли, приятель? – улыбнулся бойкий паренек с волосами до плеч. – Пардес Кац – поганое местечко. Езжай лучше в Кфар-Шмариягу…»

«Погоди, Галь, – прервал его другой. – Человек серьезно спрашивает, а ты...» Он начал долго и обстоятельно объяснять, перечисляя светофоры, повороты и ориентиры. Бэрл, не слушая, кивал. Он покосился на молчащую Дафну и едва заметно подмигнул. Это вывело ее из ступора.

«Мне как раз туда надо, – сказала она, подходя к двери. – Если хочешь, я могу показать дорогу».

«Слава Богу, проснулась», – подумал Бэрл.

Они выбрались на Аялон и теперь медленно продвигались на север в обычной для этого часа пробке. Оба молчали, глядя прямо перед собой, поглощенные острым чувством взаимоприсутствия.

«Говори уже что-нибудь, – хрипло сказала она наконец. – Например, куда ты меня везешь? Не то чтобы это имело какое-то значение...»

«Как твоя спина?» – спросил он, игнорируя ее вопрос.

«Заживает. Хотя с рюкзачком придется повременить неделю-другую».

«Я надеюсь, что с кремом для загара нет проблем», – сказал он и искоса взглянул на нее – впервые с того момента, как она села в машину. Они расхохотались, празднуя исчезновение этого невыносимого, звенящего напряжения, заложившего уши и затруднявшего дыхание, когда каждое движение выглядело невозможным в своей чрезмерной интимности.

«Что ты привязался к этому крему? Он просто остался там с лета. Неужели трудно понять – у какой женщины есть время перебирать свою сумочку ежедневно?»

«Ежедневно? – ухмыльнулся Бэрл. – На дворе февраль, дорогая».

«Дорогая? – изумилась она. – Дорогая? Послушайте, уважаемый. Я не отрицаю, что позавчера трахнула вас с определенным, даже, как мне показалось, взаимным удовольствием. Последнее обстоятельство, – я имею в виду взаимность – видимо, не позволяет вам подать на меня в полицию жалобу за изнасилование. Но с чего вы взяли, что имеете право обращаться ко мне, как будто мы уже двадцать лет женаты? Дорогая... Подумать только!» Она возмущенно фыркнула и отвернулась к окну, глядя счастливыми невидящими глазами на проплывающие мимо зеленые пустыри, домики, изгороди, на весь этот прекрасный и ласковый мир, танцующий медленное болеро в такт ее светлой раскачивающейся радости.

Бэрл смутился, поняв, что взял не ту ноту. «Ну насчет двадцати лет – это ты, пожалуй, хватила, – сказал он, пытаясь отшутиться. – Двадцать лет назад тебя еще грудью кормили».

«Сукин ты сын, – думала Дафна, уткнувшись в свое окно. – Сукин ты сын. Сегодня кормление грудью предстоит тебе. Уж я об этом позабочусь... Господи, что я несу?» Она ужаснулась откровенной непристойности своих мыслей. Но это был какой-то веселый, даже радостный ужас. Вслух она спросила: «Нам еще долго?»

«Почти приехали», – ответил Бэрл. Как и Дафна, он чувствовал мощный, оглушающий резонанс их тяжелого притяжения, темную, засасывающую воронку, в которой, медленно кружась и искривляясь, исчезало шоссе с разноцветными коробками машин, придорожные столбы, ясные, педантичные линии его прежней жизни. Теперь, при помощи какой-то чудом уцелевшей часть сознания глядя сверху на эту воронку, на себя самого, бесповоротно и сладко тонущего в ее властном неотвратимом кружении, он понимал, что единственным движущим мотивом всех его последних действий было желание увидеть ее, коснуться ее, спрятать, укрыть, защитить. Это было неправильно, преступно, против всех правил.

У Бэрла никогда не было недостатка в женщинах. Фактурная внешность, щедрость и бойко подвешенный язык без особого труда поставляли ему короткие, ни к чему не обязывающие связи, в которых обе стороны с той или иной степенью откровенности использовали друг друга для столь необходимой время от времени разрядки. Помимо разрядки, это даже доставляло удовольствие, вполне сравнимое с гурманским обедом или трансляцией хорошего футбольного матча.

Что же произошло на этот раз? Отчего он видит ее, эту совершенно незнакомую девчонку, видит, даже не глядя в ее сторону, каким-то особым звериным периферическим зрением, нюхом, физическим осязанием окружающей ее ауры? Почему именно этот острый локоть, это ломкое запястье, этот темный каштановый завиток над упрямой скулой рождают в нем тянущее, щекочущее, влекущее чувство, эту тяжесть в паху, это сладкое сверление в сердце? Такое происходило с ним впервые в жизни.

«Со мной такое впервые в жизни, – вдруг сказала она, обращаясь к окну. – А ты наверно думаешь, что я нимфоманка. Ну и черт с тобой, думай что хочешь. Кто ты мне? – никто. Я даже не знаю, как тебя зовут...»

Бэрл взял ее руку и поцеловал в ладонь. Они съехали с трассы и продолжили по проселку. На указателе «Бейт-Нехемия» Бэрл свернул и затормозил у шлагбаума. Сонный сторож с древним карабином через плечо обошел машину и сунулся к бэрлову окошку.

«Привет, бижу, – сказал Бэрл. – Где тут у вас циммеры?» Сорож махнул рукой.

* * *

Потом они лежали неподвижно, прислушиваясь к затихающему рыку и топоту зверя, временно оставившего их в покое.

«Кто ты? – прошептала она в его подмышку. – Почему?»

«Слушай меня внимательно, девочка, – сказал Бэрл. – ты поживешь здесь с недельку. Может, меньше. Пока я не устрою наши дела». Она кивнула.

«Нет, – сказал Бэрл. – Я хочу быть уверенным, что ты поняла». Он вытащил ее голову из подмышки и посмотрел в неожиданно глубокие колодца зрачков под припухшими веками. «Тебе угрожает большая опасность, слышишь?» Она опять кивнула. «Ты должна сидеть тут безвылазно, никаких звонков, ничего. Ферштейн?»

Дафна снова кивнула и спросила шепотом: «А ты? Ты будешь здесь?»

«Нет. Говорю тебе, я должен уладить кое-что. А ты пока тихонечко посидишь тут, хорошо?»

Она с сомнением качнула головой: «Прямо не знаю, как справлюсь. Ты меня так разогнал, что мне придется завести любовника».

Бэрл рассмеялся. «Ладно. Я приведу тебе стадо козлов. Только смотри, не затрахай их до смерти».

«Ах ты, кобелина, – возмущенно воскликнула Дафна. – Соблазнил бедную девушку, а теперь в кусты? Козлами думаешь отделаться?»

«Кто... кого... соблазнил, – выкрикивал Бэрл, задыхаясь от смеха и безуспешно пытаясь заслониться от сыплющегося на него града ударов. – Кто... кого...»

Зверь возвращался, топоча кровью в их пульсирующих висках, обжигая своим жарким дыханием их ищущие друг друга губы...

* * *

В Тель-Авив Бэрл вернулся в десятом часу вечера. Уже совсем стемнело, и нервозный деловой трафик сменился другими, ленивыми, разгульными, опасными ритмами ночного средиземноморского города.

Частное сыскное агентство «Стена» помещалось в даунтауне Рамат-Гана, на шестнадцатом этаже одного из больших офисных зданий за алмазной биржей.

Днем этот район кишит клерками в красных галстуках, длинноногими секретаршами, длиннопейсными алмазными дилерами, посыльными, студентами мелких колледжей и прочим сверхзанятым служилым людом. Ближе к ночи вся эта публика бесследно исчезает, разъезжаясь по домам, поближе к зануде-телевизору, домашним тапкам и теплому супружескому боку. Запираются двери кондиционированных офисов, гаснут стеклянные стены небоскребов, замирает дневная жизнь даунтауна. Какие-нибудь час-другой опустевшие улицы еще притворяются, что, мол, вот и замерло все до рассвета... но не тут-то было. Вместе со сгущающимися сумерками из неприметных полуподвалов выползает наружу другая, нагловатая в своей бесстыжей откровенности реальность.

А может, слово «другая» здесь как раз-таки не к месту? Может, следует просто говорить «реальность», или еше лучше – «истинная реальность», в противоположность надуманной, лживой, фальшивой маске дневной галстучной благопристойности... Как бы то ни было, тут и там загораются разноцветные рекламы пип-шоу и бинго-клубов; с веселым скрежетом поднимаются железные трисы бильярдных; красные фонарики ночные запевают свою качающуюся песню над дверьми массажных кабинетов; равнодушные громилы занимают места перед стальными решетками подпольных игорных домов...

И вот уже – шур-р-р – выпорхнула из такси первая ночная бабочка, тут же заплатив таксисту натурой; остановилась на минутку подправить помаду на губах трудового рта, одернула – не вниз – вверх – короткую кожаную юбку, вскинула голову в презрительном развороте и пошла, пошла, поплыла особенной, медленной, тянущейся походкой, моментально превращающей прозаический дневной тротуар в сверкающую грехом ночную панель. А вот и местная гиена – гнойноглазый сутенер, в умопомрачительном пиджаке и сверкающих кожаных полусапожках, натянутый как струна, с выкидным ножом в рукаве.

Все вроде в сборе... нет, кого-то не хватает... Ба, да вот и они – полицейский патруль, крутя чоколакой, проезжает по улицам, тщательно избегая темных тупиков, все в том же общем медленном ритме менуэта, перебрасываясь шутками со знакомыми девочками, шугая чужих, следя за своими – чтоб не борзели.

Ну и, понятно – клиент... Хотя клиент, он клиент и есть, ничего особенного: кто просто глазеет, а кто и покупает. Покупают тоже, как в супермаркете – кто выбирает товар, прицениваеться, семь раз отмеряет, хотя, казалось бы – что тут на хрен мерить? – а кто хватает, как окунь – быстро, жадно, лишь бы хапнуть...

Шуршит по даунтауну ночная жизнь, свивается кольцами, блестит тусклой змеиной чешуей – до утра, до первого света.

Под утро гаснут разноцветные гирлянды, грохоча, опускаются железные ставни, закрываются витринные окна полуподвалов. Последние одиночные гуляки вываливаются из стрип-клубов, карточные игроки с опрокинутыми лицами щурятся навстречу ненужному новому дню, бледные ошалевшие тинэйджеры выблевывают под забором последствия сигаретного отравления... и все ловят такси – скорее, домой, к подушке... эй, шеф, куда же ты? Но шеф-то знает куда, вон она, его клиентка, ночная ударница, вусмерть уставшая, до ушей затраханная, вон она на углу, ждет его, качается на шестидюймовых шпильках... ахалан, Моти, братишка, вези скорей домой, сил нету. А дома – шприц – и в койку, до вечера...

Зевающий патруль проезжает последний раз по затихшим улицам, сгоняя с углов неконвенциональных сверхурочниц, и – вовремя, как раз вовремя – вон, смотрите, уже побежал первый клерк, размахивая кожаным портфельчиком, бодрый, как пионер; за ним – еще и еще, галстук вьется по ветру... а вон и посыльный на тустусе... и адвокат на «Вольво»... Еще какие-нибудь полчаса, и зашумит-забегает деловой даунтаун, как вчера, как завтра, как всегда. А ночного удавищи – как не бывало. Эй, змей, откликнись, ты где, горыныч? – молчит, и нет ни следа, ни чешуйки... Разве что рассеянный бородач в лапсердаке и черной шляпе, выходя с подземной стоянки, поскользнется на присохшем к ступенькам презервативе, оглянется посмотреть, да и сплюнет с возмущением. Тьфу... прости Господи... И то – пакость-то ведь какая.

* * *

Бэрл неторопливо вошел в пустое лобби, кивнул ночному сторожу и направился прямо к почтовым ящикам на противоположной стене. Спиною чувствуя взгляд охранника, он вынул связку ключей и сунул подходящую отмычку в замочную скважину первой же попавшейся ячейки. Как он и предполагал, смешной замочек имел скорее декоративное назначение. Бэрл вытащил пачку счетов и рекламных флайеров, с полминуты постоял, разглядывая их и озабоченно покачивая головой, и лишь затем направился к лифтам. Старик-сторож продолжал есть его глазами.

«Эй, бижу, ты так во мне дырку просверлишь, – улыбнулся Бэрл. – Я новый помощник адвоката Яари». Он протянул старику руку: «Шимон. Очень приятно».

Старик кивнул: «Добрый вечер, господин Шимон. Вы ожидаете кого-нибудь? Я хотел бы запереть входную дверь».

«Нет проблем, бижу, – разрешил Бэрл. – Я ненадолго – вот только разберу пару писем. Сколько можно вкалывать, правда? Жить-то когда будем?»

С французским замком во входной двери частного агентства «Стена» не пришлось возиться многим дольше, чем с почтовой ячейкой адвоката Яари. Это был маленький двухкомнатный офис с крохотной прихожей. Ребята и в самом деле работали вдвоем, даже без секретарши. Бэрл прошелся по ящикам столов, быстро прочесал картотеку, наугад дернул несколько папок из небольшого стеллажа. Все выглядело вполне невинно. Бэрл и сам не знал, что именно он рассчитывал обнаружить – просто так, абы-что, какую-никакую зацепку, кочку на ровной, как стол, поверхности его тотального, бесследного неведения.

Компьютер был только у младшего, Ави. Экран засветился и послушно распахнул перед Бэрлом все небогатое содержимое единственного диска – без паролей, без криптованных файлов и прочей необязательной чепухи. Положительно, ребятам было нечего скрывать. Впрочем, одна деталь как раз привлекала внимание – по крайней мере наполовину диск был забит всевозможными карточными игровыми программами. Десятки вариантов одного только «Блэк Джека»... Ави и впрямь мог считаться истинным любителем карт.

Бэрл открыл браузер и просмотрел историю последних подключений к Интернету. Гм... недлинный список на девяносто процентов содержал сайты интернетовских букмекеров и казино. Это явно становилось интересным. Бэрл выключил компьютер. Он уже собирался уходить, когда взгляд его упал на скомканный рекламный флайер со следами губной помады. Бэрл развернул бумажку. На лицевой стороне крупными буквами было написано: «Клуб стриптизерш МУЛЕН РУЖ!»... лучшие... зажигательные... участие зрителей... и так далее. На обороте флайера русскими буквами, неровно выведенными яркой фосфоресцирующей помадой, значилось: «ЖАННА».

* * *

Стриптиз-клуб помещался в трех кварталах от офиса. Представление еще не началось, клуб был пуст, билетер и бармен перекуривали у входа.

«Вам двадцадки поменять?» – осведомился билетер, продавая Бэрлу билет.

«Зачем?» – удивился Бэрл. Билетер с барменом переглянулись.

«Вы у нас еще не были? – спросил бармен, улыбаясь. – Тогда просто поверьте мне на слово – двадцатки вам весьма пригодятся...»

Бэрл пожал плечами и разменял пару сотенных. «Кому же еще верить, как не тебе, бижу, – ласково сказал он бармену. – А как насчет того, чтобы плеснуть мне коньячку на донышко?»

Бармен почесал в затылке. «Могу предложить только паршивый бренди, – сказал он честно. – Но мой тебе совет – возьми лучше пиво. Мы тут по части выпивки слабоваты. Мы тут как-то все больше по сиськам».

Они подошли к стойке, где уже стояли две девицы в купальных халатах.

«Познакомься, – сказал бармен. – Жанна. Джессика».

Жанна была высокой шатенкой с огромной грудью и неправильным прикусом. Она мило улыбнулась и кивнула, загребая воздух передними зубами.

«Счастлив встрече, – сказал Бэрл, залезая на табурет. – Выпьете что-нибудь, девочки?»

«Спасибо, не сейчас, – ответила Джессика, окидывая Бэрла профессионально оценивающим взглядом. – Нам выступать скоро…»

«Пойдем, Ирка, – сказала она по-русски, обращаясь к «Жанне». – Я еще не вмазала...»

Бэрл взял свое пиво и сел за столик у стены.

Зал понемногу наполнялся. Ввалилась шумная компания развязных юнцов человек в двадцать – праздновать чей-то уход в армию. Бочком-бочком просочилась и тесно пристроилась у самой сцены бригада мрачных, придавленных румын-гастарбайтеров. Прочие рассаживались маленькими группами – по двое, по трое. Были и одиночки, один из них – парень явно арабской внешности, обысканный на входе с пристрастием.

Ударила оглушающая музыка, и на сцену, покачивая бедрами, стали выходить «артистки» – шесть девушек в бикини. Представление началось. Бэрлу быстро стало скучно – он не находил ничего интересного в страстных обвиваниях шеста и художественном раздвигании нижних конечностей. Вдобавок у него начала болеть голова от духоты и табачного дыма. Он вышел на улицу подышать. Билетер клевал носом на стуле у входа.

«Ну как, нравится? – приветствовал он Бэрла. – Наше шоу – лучшее на Ближнем Востоке. Приезжают аж из Иордании!»

«Что сказать тебе, бижу? – ответил Бэрл. – Это и в самом деле нечто. Я сам себе завидую. Вот вышел немного поостыть – боюсь обмочиться от возбуждения».

Он сделал несколько шагов по направлению к углу здания и скорее почувствовал, чем услышал приглушенную арабскую речь. Силуэты двоих мужчин угадывались в темноте тупика, за мусорными баками. «Эге... – подумал Бэрл. – Это что ж за каша тут заваривается?» Он вернулся в зал. Первая часть представления закончилась, девушки спустились в зал и расхаживали между столиками. Бэрл не успел занять свое место, как подошедшая сзади Джессика решительно плюхнулась к нему на колени.

«Это что ж такое, Джессика? – спросил он, предугадывая, впрочем, развитие событий. – Ты что, на мне ездить собралась? Я что тебе, лошадь?»

Джессика жестоко улыбнулась и расстегнула лифчик. «Двадцать шекелей», – сказала она, борцовской хваткой вцепляясь в Бэрлову шею. Бэрл беспомощно оглянулся. Он был не единственной жертвой. Все полуголые «артистки» уже оседлали своих избранников из публики и интенсивно отрабатывали номер. Он поискал глазами Жанну. Она была рядом, за соседним столиком. Утопив голову маленького пожилого мужчинки в своих необъятных прелестях, Жанна плотоядно утюжила его от коленок к животу и обратно.

«Смертоубийство... – ужаснулся Бэрл. – Она ж его задушит на хрен...» Джессика дернула его за шею, требуя внимания. «Послушай, красивая, – сказал Бэрл, стараясь звучать мужественно. – Я дам тебе сорок, только слезь с меня, ради Бога…»

«Ты что, гомо?» – разочарованно протянула Джессика.

«Да как-то не по мне вся эта гимнастика, – сказал Бэрл. – Я больше танцы люблю».

«Можно и танцы, – оживилась Джессика. – Персональный танец в кабинете – сто шекелей. Только предупреждаю сразу – у нас не трахаются. Это на гражданке: «потрогал – женись», а у нас тут все наоборот – трогать можешь, а жениться – ни-ни...» Она рассмеялась. «Ну что, пошли?»

Бэрл смущенно кашлянул. «Э-э... Во-первых, вот тебе твой сороковник, – сказал он, вынимая из кармана две смятые бумажки. – Во-вторых, нельзя ли мне как-нибудь Жанну заполучить?»

«Жанну... Чем же я-то тебе не приглянулась? – обиженно сказала Джессика. – Я и танцую лучше. Ладно, ладно, не объясняй, понимаю... ты, видно, из тех, что на вымя западают. Давай еще двадцатку – устрою тебе Жанну, так и быть…» Она соскочила с Бэрла и, засовывая деньги в сапог, пошла к Жанне. Та уже оставила свою первую жертву и теперь орлиным взором высматривала нового претендента. Пошептавшись с Джессикой, она махнула Бэрлу, указывая в сторону боковой двери.

«Кабинет» представлял собою крохотный закуток с единственным стулом и магнитофоном на полке. Жанна усадила Бэрла на стул и начала возиться с кассетой.

«Послушай, Ирочка, – сказал Бэрл. – Ты, случаем, не из Днепропетровска?»

«С чего это ты взял? – удивилась она. – Вот ведь сучки! Ну никогда кассету назад не отмотают!»

«Вот такой я проницательный. Это у меня профессиональное. Я ведь, если хочешь знать, сыщик. Частный, конечно…»

«Хреновый из тебя сыщик, – усмехнулась Жанна и включила музыку. – С Харькова я…» Она начала неуклюже раскачиваться в такт Джо Дассену.

«Откуда ты знаешь, какие сыщики бывают? Из кино разве что», – поддразнил ее Бэрл.

«Прямо уж... – протянула она, закатывая глаза, чтобы лучше войти в ритм. – Вас тут как собак нерезанных. У меня даже постоянный клиент есть – сыщик. Сыщики-хренищики... Как ни ищи, других таких титек все равно не сыщешь».

Обеими руками она приподняла свои сокровища и шумно задышала, имитируя страсть.

«Тут ты права, – подтвердил Бэрл. – А что это значит – «постоянный клиент», Ируня? Он что тут, каждую ночь околачивается?» «Когда деньги есть, – простонала Жанна, водя руками по своему широкому украинскому телу. По задумке, эти движения должны были носить эротический характер. В революционной жанниной интерпретации они более походили на ловлю блох. – Он ведь в карты играет, мудило, тут недалеко, на соседней улице. Как часам к трем просадится вчистую, так сюда идет – мол, пожалей, Жанночка, дурную мою голову. Вот я и жалею-ю-ю...» Она перешла на следующую ступень страсти, включающую стоны и подвывания.

Несмотря на известную нестандартность жанниного спектакля, Бэрл выглядел совершенно удовлетворенным. Расплачиваясь, он сказал: «Мой тебе совет, Ируня – смени ты имя. Почему именно Жанна? Айседора тебе куда больше подходит».

* * *

Ави Коэн вошел в зал около двух. Все выдавало в нем завсегдатая: он похлопал по плечу бармена, сунул голову в служебку, подарил звучный шлепок ягодицам пробегавшей мимо «артистки», обнял соскочившую с очередного клиента Жанну... Но не это привлекло главное внимание Бэрла. Следуя многолетней привычке никогда не забывать о ситуации в целом, даже сосредотачиваясь на отдельном ее фрагменте, он обнаружил интересную вещь. Помимо него, в зале находился еще кто-то, не спускавший с Коэна глаз – это был тот самый, давешний араб, с понтом обысканный в самом начале вечера. Вот он встал со своего места и, пройдя через зал, тронул Коэна за плечо. Вот Коэн обернулся, с видимым неудовольствием оторвавшись от ощупывания пышных форм Иры-Жанны-Айседоры. Вот араб сказал ему что-то на ухо... Коэн кивнул и снова повернулся к Жанне. Араб пошел к выходу.

Бэрл быстро поднялся и прошел в туалет. Задвинув щеколду, он встал на унитаз и приблизил голову к приоткрытой фрамуге, выходящей в тупик сбоку от здания. По его расчетам, там в настоящий момент должны были находиться не только мусорные баки.

«Сейчас выйдет, – говорили по-арабски. – Спрячьтесь и не высовывайтесь. И нож, Зияд, дай мне мой нож...»

Бэрл вынул из наплечной кобуры пистолет и навернул глушитель. Он услышал звук приближающихся шагов.

«Что случилось, Надир? – это был, видимо, Ави Коэн. – Я же говорил, я сам тебя найду, когда будет что-нибудь новенькое. Пока – нет. Но если ты уже здесь, не одолжишь ли мне тысчонку-другую в счет будущего?» «Я здесь, чтобы кое-что выяснить, Ави, – ответил прежний голос с тяжелым арабским акцентом. – Разве ты не читаешь газет?»

Коэн выругался с явно наигранным удивлением: «Так это был все-таки ваш клиент, этот банкир? Искренне сожалею...» В его голосе было услышать все, что угодно, только не сожаление... «Но я-то тут при чем? Мне вы платили за что? – за двух курьеров. Их и получили – какие претензии?»

«Там была засада, Ави. Мы потеряли пятерых. Абу-Айяд чудом остался жив. Что ты скажешь на это?»

В дверь туалета постучали. Бэрл после секундного колебания спрыгнул на пол и пошел открывать. В конце концов, он уже слышал более чем достаточно. Его начал бить охотничий азарт. На улице он сказал билетеру-охраннику: «Кто-то заперся там в сортире и не хочет выходить. Ты бы, чем спать тут...» Он не успел закончить фразу, как билетер был уже внутри. Бэрл в два прыжка оказался у входа в тупик. Открывшаяся ему картина, в общем, выглядела вполне подходящей – Ави Коэн булькал на земле перерезанным горлом, один из арабов сидел рядом с ним на корточках, вытирая нож, двое других стояли вблизи. Тем не менее, Бэрл немедленно вскинул пистолет и приступил к еще большему улучшению ситуации. Спустя несколько секунд двое арабов стремительно догоняли Коэна по дороге в преисподнюю; третий лежал в глубокой отключке. Времени на раздумье не было – билетер вот-вот должен был вернуться. Бэрл взвалил на плечи бесчувственное тело и бегом ринулся к своему «Опелю». Он успел захлопнуть багажник как раз вовремя.

6

Под утро прошел наконец долгожданный дождь, и теперь процеженный через его сито зимний иерусалимский воздух был особенно вкусен. Шломо добил очередную главу и вышел на лестницу. Время подъезжало к часу, так что с известной степенью осторожности можно было предположить, что Сеня – сосед Бельских сверху – уже проснулся после своих ночных компьютерных бдений. В настоящий момент Сеня жил один и пробавлялся случайными заработками программиста-надомника. По личным причинам, усугубленным общим экономическим кризисом, он с трудом сводил концы с концами, и Шломо лелеял надежду пристроить Сашку к нему на временное жительство.

Дверь в сенину квартиру была приоткрыта. Сам хозяин в махровом халате сидел на диване, поджав под себя ногу и курил, бессмысленно щурясь на выключенный телевизор.

«Сеня, привет. Проснулся? К тебе можно?» – спросил Шломо и, не дожидаясь ответа, уселся между телевизором и Сеней, рассчитывая таким образом пересечь воображаемую линию его взгляда. Сеня промычал что-то нечленораздельное и мучительно закашлялся.

Шломо прикинул свои шансы. По опыту он знал, что многоступенчатый процесс сениного пробуждения занимает от часа до полутора. Процесс этот обычно начинался с момента, когда, не отрывая головы от подушки и даже не продирая глаз, Сеня протягивал руку за первой сигаретой «Нельсон», игравшей в данном случае роль кислородной подушки. Вдохнув живительного дыма, он садился на кровати и некоторое время курил, вслушиваясь в себя и поджидая первый приступ кашля.

Кашель подкатывал с мощью грузового поезда. Эту вроде бы неуправляемую враждебную энергию Сеня, в полном соответствии с рекомендациями восточных школ единоборств, рационально использовал в полезном направлении. Так, с помощью кашля он продирал глаза – если уж так или иначе они вылезали из орбит... С помощью кашля он сбрасывал с кровати ноги – улучив момент, когда все тело начинало сотрясаться в едином кашляющем резонансе. Наконец, кашель способствовал первичному умыванию лица посредством обильного слезоточения. С какой стороны ни посмотри – ничего, кроме пользы, от кашля не было, так что временами Сеня с ужасом думал, что же произойдет, если в одно прекрасное утро кашель вдруг откажется служить...

Затем Сеня, используя преимущество открытых глаз, находил пепельницу, гасил уже давно обжигавшую пальцы сигарету и немедленно закуривал новую. Переход на следующий этап, будь то возврат ко сну или прогулка к унитазу, требовал осознанного физического усилия, на что Сеня, как правило, был в этот момент еще совершенно не способен. Это вынуждало его снова ждать внешнего толчка, который обычно приходил в виде властного зова мочевого пузыря.

И снова Сеня использовал враждебную энергию в мирных целях. Он боролся с пузырем до последнего, доводя себя до необходимости направляться в туалет бегом. Это заменяло ему утреннюю пробежку и таким образом экономило время. Помимо всего прочего, невыразимое чувство облегчения поставляло положительный ответ на вопрос – а надо ли было, в принципе, просыпаться? не напрасны ли все эти адовы муки? Вот видишь, – говорил он сам себе, поглаживая живот, где затихал в благодарном трансе страдалец-пузырь, – вот видишь? А не встал бы с постели – хрен бы получил такое огромное, ни с чем не сравнимое наслаждение...

Приободренный первыми успехами, Сеня выбрасывал в унитаз сигарету, закуривал новую и отправлялся на диван. Там разворачивалось главное сражение. В истории оно проходило под названием «дайте-мне-придти-в-себя», ибо таковы были единственные слова, которые он мог в эти моменты произносить, да и то лишь ближе к промежуточному финишу. Какие именно тектонические процессы протекали на этом этапе в сенином организме, обмякшем на поджатой левой ноге, не мог бы сказать никто, включая самого Сеню. Просто он вдруг обнаруживал, что язык начинает повиноваться, доказательством чего служит первое внятное «дайте мне придти в себя», что картинка перед глазами стабилизируется, как будто повинуясь отвертке настройщика, что ноги носят, а руки в состоянии держать не только сигарету, но и, скажем, ложку. А значит, можно было вставать, делать кофе, принимать душ, звонить по телефону, начинать жить.

Тщательно прослушав сенино мычание, Шломо попытался определить степень его близости к знаменитой формуле. Судя по последнему, вполне четко различимому «бя», ждать уже было не долго. Шломо включил телевизор, дабы что-то раздражало бессмысленный сенин взгляд, и отправился на кухню делать кофе. Чайник уже закипал, когда с дивана донеслось долгожданное «Дайте мне придти в себя!», и почти годный к употреблению Сеня прошлепал мимо него в ванную.

В прошлом году Сене исполнилось шестьдесят. Рожденный в блокадном Ленинграде смертельным декабрем 41-го, он каким-то невероятным образом пережил ту войну, включая прямое попадание авиабомбы в их дом, как раз в момент, когда мать сунула ему грудь с немногими каплями молока. Бездна разверзлась посередине комнаты, пол накренился, и, одной рукой прижимая к груди ребенка, а другой – вцепившись в спинку кровати, она аккуратно съехала с третьего этажа вместе с остатками того, что прежде звалось номером 4 по улице Гоголя, угол Кирпичного, там, где пивной ларек – всякий знает.

Скорее всего, именно эта история сыграла решающую роль в формировании сениной личности. Во-первых, с той поры он всегда ел быстро и жадно, как будто и в самом деле опасаясь внезапной бомбежки. Во-вторых, завидев любую женскую грудь, он испытывал непреодолимую потребность вцепиться в нее как можно крепче. И если первая странность была вполне простительной, да, собственно говоря, и странностью-то в те трудные годы не считалась, то второе обстоятельство выглядело серьезной помехой для стандартного жизненного пути семейного человека. Едва достигнув подросткового возраста, Сенечка превратился в полового гангстера, неутомимого охотника за грудями. Свой первый успех он отпраздновал в средней группе пионерлагеря, на зависть старшим слюнтяям трахнув собственную пионервожатую, и с тех пор не останавливался ни на минуту.

Невзрачный, маленького росточка, с кудлатой головой философа и сатира, он обладал той таинственной и редкой повадкой Казановы, заставляющей любую красавицу по первому требованию сдавать свои бастионы, вернее, свои груди в простертые руки неумолимого победителя. До семьи ли тут, скажите на милость? Впрочем, по молодости лет Сеня женился, родил дочку, но брак этот не просуществовал и года. Еще бы – мог ли наш индеец удовлетвориться двумя вдоль и поперек изученными супружескими грудями, в то время как вокруг, почти без охраны, только руку протяни – парами расхаживали десятки, сотни, тысячи вожделенных объектов всех форм и размеров? И он снова вышел на тропу свободной охоты.

Даже возраст, казалось, был не властен над неутомимым Чингачгуком. Каких только грудей не перебывало в его мерказушной квартирке! Некоторые их обладательницы годились Сене во внучки... И все же... То ли кончилась мера, отмеренная ему Верховным Весовщиком, то ли еще что, только, еще не перевалив через шестьдесят, он вдруг разом потерял интерес к любимому занятию. И не то что пошли на спад его прославленные половые параметры – нет, с этим как раз таки все обстояло не хуже, чем прежде. А вот интерес – пропал. Сеня покрутился еще с полгода – чисто по инерции, а потом плюнул, отправил восвояси последнюю пару грудей и зажил один, не считая телевизора.

Третьим и главным последствием сениного падения на развалины знаменитого пивного ларька стало четкое осознание того факта, что жизнью своей он обязан невероятной случайности, описываемой миллионными долями процента. Собственно говоря, он должен был принять смерть еще тогда, в нежном возрасте мягких черепных костей, не от бомбы, так от потолочной балки, от случайного кирпича, от удара, вызванного свободным падением с десятиметровой высоты, да мало ли от чего... подумайте... ну что тут объяснять...

И тем не менее, он жил, ходил в школу, отвечал у доски, дрался на переменках с Колькой Балуевым, быстро и жадно ел пустую картошку и, подкравшись сзади, дергал за сиськи старших дворовых девчонок. Все эти действия можно было рассматривать как случайные, неучтенные, даже в некотором смысле незаконные, в отличие от солидных, практически обоснованных платформ бытия других детей, того же, скажем, Кольки. Его, Сени, не должно было тут быть, ходить, драться, есть, дергать за сиськи. Он был призраком – вот оно, правильное слово. Призраком.

И как призрак, он никому ничего не был должен. Вот так. Третьеклассником он бесстрашно хамил ужасному завучу 210-й школы, завучу, перед которым плакали, а то и мочились в штаны самые отъявленные сорвиголовы из старших классов. А когда пришла пора джаза, стиляг и пластинок «на костях», то именно у него были самые узкие брюки, самые толстые подошвы и самый напомаженный кок во всей компании, что хиляла тогда по Броду.

В институте и позже, на работе, он жил, как хотел – легкий, веселый, остроумный – центр любой компании, ничем и никому не обязанный. К советскому инженерству тех времен глагол «работать» подходил весьма приблизительно. Слово «служить» выглядело намного точнее при описании того уникального бытия от восьми до четырех тридцати, заполненного долгими перекурами, бурными служебными романами, дикими пьянками по любому поводу и вовсе без повода, обменом культурными впечатлениями, беготней по окрестным магазинам, игрой в шахматы, в домино, в карты – всем, чем угодно, только не «работой». В этой непростой, совершенно неформальной среде Сеня был бесспорным лидером. Именно таким, блестящим и таинственным неформалом, увидели его впервые желторотые Славка и Сашка, по воле судьбы распределенные в сенину контору после защиты диплома.

А потом, как известно, все развалилось. Особых причин уезжать у Сени не было. С другой стороны, почти все друзья и близкие, а значит – привычная среда обитания – либо уже разъехались, либо уже собирались. Поневоле собрался и Сеня. Несмотря на то, что тогда еще можно было выбирать, он выбрал Израиль – Америка пугала его именно непривычной и всеобъемлющей формализированностью, в то время как Страна Евреев оставляла некоторые надежды на сохранение прежнего образа жизни.

С тех пор, в течение всех своих тринадцати израильских лет, он упорно отказывался от любых формальных рамок, тут и там навязываемых ему новой жизнью – к примеру, здесь требовалось «работать», а не «служить», что уже накладывало неприемлемые ограничения на его свободную, никому ничем не обязанную личность. Эта упорная, неравная, непрекращающаяся борьба с хамской недружелюбной действительностью заслуживала подлинного уважения, тем более, что пока в этой борьбе побеждал Сеня. Он ухитрялся существовать, перебиваясь случайными программистскими халтурками и чтением лекций на курсах компьютерного ликбеза. Впрочем, действительность не отчаивалась, твердо зная, что поражений у нее может быть сколько угодно, в то время как Сеня не в состоянии позволить себе ни одного...

«Сеня! – крикнул Шломо в закрытую дверь ванной. – Кофе готов, вылезай уже, сколько можно…»

«Дайте мне придти в себя», – невнятно донеслось из-за двери. Шломо насторожился, пытаясь определить причину подозрительной невнятности. Иногда процесс Сениного пробуждения впадал в деградацию, вплоть до возврата в постель. К счастью, на сей раз причины были другими – дверь распахнулась, и бодрый Сеня появился на пороге, интенсивно вытирая полотенцем свою бизонью кудлатую башку.

«Ну, – сказал он, усаживаясь на диван и закуривая. – Кто-то что-то говорил про кофе?» Шломо беспрекословно подал.

«Сенечка, – начал он вкрадчиво. – У меня есть к тебе маленькая просьба…»

«Ум-м-м?» – донеслось с дивана.

«Видишь ли, у Сашки могут возникнуть некоторые проблемы с жильем, причем в самое ближайшее время».

«Еще бы, – хмыкнул Сеня. – После вчерашней статьи в «Вестнике» лично я выпер бы его с этой планеты, не то что – с квартиры...» Жмурясь и гримасничая, он начал расчесывать бородатую щеку. «Ты завтракал?»

«Ты же знаешь, я – ранняя пташка», – ответил Шломо.

«Тогда сделай мне яичницу, – сказал Сеня. – Из трех яиц».

Шломо распахнул холодильник. «Тут нет яиц, Сеня!»

Сеня почесал живот. «И бутерброд с маслом», – сказал он, немного подумал и добавил: «И с сыром!»

Шломо вздохнул и выбежал наружу. Торопливо спустившись к себе, он быстро сварганил яичницу с колбасой, намазал пару бутербродов и, загрузив все на поднос, вернулся наверх. Сеня, поджав ногу, сидел на диване перед чашкой остывшего кофе и курил, щурясь на телевизор. Шломо поставил поднос на журнальный столик.

«На стол», – поправил его Сеня, не отрываясь от телевизора. На экране жизнерадостная тетка в сарафане объясняла по-немецки кулинарные рецепты.

«Сеня, – сказал Шломо спокойно. – Пошел ты на...»

«Ты груб», – констатировал Сеня. Кряхтя, он сполз с дивана, погасил сигарету и, взяв поднос с яичницей, пошел к столу. На полпути он остановился и спросил, обращаясь к тетке в сарафане: «Разве я просил яичницу с колбасой? И почему бутерброды без сыра?» Тетка молча шинковала сочную немецкую капусту. Шломо улыбался. Не дождавшись ответа, Сеня сел за стол и начал есть, быстро и жадно.

Заглотив последний кусок, он откинулся на спинку стула и закурил, поставив оба локтя на стол и задумчиво глядя сквозь приоткрытую дверь на умытые горней росой кварталы Иерусалима. Шломо ждал. Сеня докурил сигарету до самого фильтра и сказал: «Вчера смотрел фильм, не помню названия. Шкодный такой фильмец, с Умой Турман. Так вот, она там...»

«Сеня, падла, – сказал Шломо беззлобно. – Сашке жить негде».

«Что значит – негде? – удивился Сеня. – Я же тебе десять раз говорил – пусть живет у меня. Так вот, Ума Турман...» Он закурил и начал пересказывать виденный вчера фильм. Шломо смотрел на него, не слушая, а просто любя до слез, как любят только домашних собак и самых близких людей.

7

«Вы знаете, Бэрл, – сказал Мудрец задумчиво. – С годами учишься находить Бога в самых малых вещах. В глотке воды или воздуха. В мокром листе. В чьем-нибудь взгляде. Даже в пластмассовой игрушке». Он рассмеялся дробным мелким смешком.

«Знавал я одного юродивого – из тех косматых оборванных существ, что ходили в Польше из деревни в деревню, круглый год босиком – по камням, по снегу, по осенней грязи – куда там йогам... Так вот, отчего-то он терпеть не мог пластмассовых игрушек. Бывало, как увидит, что ребенок в песочнице с пластмассовой формочкой возится, так подбежит, схватит формочку-то, да и забросит куда подальше. Ребенок, конечно – в плач, мамаши – в крик, папаши – в тычки, а он, бедняга, им всем объясняет: мол, люди добрые, нету Бога в пластмассовой игрушке; в этом вот железном совочке – есть, и в кубике этом деревянном – тоже есть, а вот в том синеньком ведерке – нет, и не ищите...»

Они медленно шли по мокрой после недавнего дождя тель-авивской набережной по направлению к Яффо. Бэрл напряженно молчал. Ему были хорошо знакомы эти отвлеченные философствования Мудреца, скрывающие за собой аналитическую мыслительную работу совершенно в другом направлении. Полчаса тому назад, за столиком в кафе Капульского Бэрл завершил свой рассказ об агентстве «Стена», о скурвившемся Ави Коэне и о сильно помятом, но пока еще живом связнике Надире, ждущем своего часа в подвале дома на улице Шамир. Путешествие в циммеры кибуца Бейт-Нехемия он опустил как не относящееся к делу. Выслушав, Мудрец помолчал, а затем предложил подышать свежим воздухом. С тех пор он говорил только о Боге и погоде. Они уже подходили к «Дельфинарию», а Бэрл все еще не услышал от своего собеседника ничего путного. Это слегка беспокоило его, но он не вмешивался в пустые разглагольствования Мудреца, зная, что это может только отдалить результат.

«К сожалению, это знание приходит только с годами, – уныло сказал Мудрец. – Вам, молодой человек, мои слова наверняка кажутся пустым разглагольствованием...»

«Отчего же, – язвительно ответил Бэрл. – Ваш юродивый, несомненно, предвидел грядущую зависимость Европы от арабской нефти и старался втолковать это именно детям, как будущим аналитикам свободного мира».

Старик вздохнул. «Вот видите... Вы знаете, Бэрл, в чем ваша проблема? – В излишней эмоциональной вовлеченности. И дело не только в том, что эмоциональная вовлеченность мешает почувствовать Бога маленьких вещей. Она просто мешает жить. Мешает видеть. Куда вы спрятали вашу мейделе?»

Бэрл встал, как вкопанный. Удар был нанесен настолько внезапно, что пробил все заранее заготовленные редуты. Мудрец тоже остановился и смотрел на него в упор, скача сумасшедшими зрачками по растерянному бэрлову лицу.

«Я так полагаю, Хаим, – произнес Бэрл, собравшись, – что вы спрашиваете об этом из чистого любопытства. Теперь, когда картина ясна, нет никакой необходимости следовать прежней программе. Коэн мертв, а остальных можно оставить в покое».

«Вы так полагаете? – резко прервал его старик. Его голос приобрел неприятную скрипучесть. – Откуда такая уверенность, что второй парень из «Стены» не замешан? А старик из Хайфы? Даже если он чист, как бело-голубой талит, где гарантии, что на него не выйдут новые друзья Ави Коэна? Поймите: все, чего касался Коэн – трефа, сколько бы вы не пытались навести на это кошер. Все, включая вашу Дафну».

Бэрл молчал, подавленный очевидной и непререкаемой правотой Мудреца. «Послушайте, Хаим, – сказал он наконец. – Видимо, вы правы насчет моей эмоциональной вовлеченности. Проблема в том, что в данном, конкретном, случае вы требуете от меня слишком многого. Война есть война, и вы не можете сказать, что я когда-нибудь позволял себе забыть об этом. Я никогда и не о чем не просил вас. Никогда. А сейчас – прошу. Оставьте девушку в покое. Я ее вам не отдам».

Старик взял его под руку. «Не городи чепуху, мой мальчик. Ты не сможешь прятать ее вечно. Да и кроме того – разве дело в нас? Мы ищем ее только затем, чтобы она не попалась головорезам Абу-Айяда. Вот уж кто действительно начнет охотиться за нею через неделю-другую. Особенно после того, как узнает о смерти владельцев «Стены» и об исчезновении Надира...»

«Владельцев? – остановил его Бэрл. – Второй компаньон, скорее всего, ни в чем не замешан. Жив-здоров, чего и вам желает...»

«Погиб... – скорбно прервал его Мудрец. – Погиб в автокатастрофе сегодня утром. Упал со своим «Харлеем» на спуске от Арада к Мертвому морю…»

Бэрл молчал.

«Предупреждая ваш вопрос относительно вашего нового знакомого из Хайфы, – продолжил старик все так же скорбно, – Господин Исраэль Лейбович умер сегодня ночью в своей постели от тяжелого инсульта. Как видите, смерть не выбирает – косит и старых и молодых, во сне и на мотоцикле...»

Бэрл молчал.

«Я признаю, что обещал вам три дня. Но, во-первых, они истекли сегодня утром; во-вторых, если быть до конца честным, вы просили их только для вашей Дафны, в-третьих – и в-главных – Протоколы обязательны к исполнению...»

Мудрец беспокойно покосился на молчащего Бэрла. «Слушайте, Бэрл, – сказал он с нотками раздражения в голосе. – Вам прекрасно известны правила. Никто из входящих во внутренний круг, включая членов Совета, не вправе позволять себе подобных историй. Ни у кого из нас нет семей, чересчур близких друзей, чересчур любимых женщин. Мы обречены на одиночество. Мы на войне. Мы солдаты. Почему же вы ведете себя подобно обиженному ребенку?»

Бэрл молчал.

Замолчал и старик. Они уже почти дошли до Яффо; слева показались обветшалые постройки турецкого периода; ветер доносил запахи рыбы, дыма и горелого мусора.

«Пожалуй, мне пора», – сказал Бэрл.

«Вам будет пора, когда я сочту это необходимым, молодой человек», – сварливо ответил Мудрец. Еще немного помолчав, он, как будто решившись, махнул рукой и продолжил: «Ладно, черт с вами. Вот вам единственный вариант разрешения страданий молодого Вертера. Во-первых, вы достаете мне Абу-Айяда. Живым. После этого вы объясняете вашей девушке ситуацию и отдаете ее нам. Мы прячем ее на два года от всего мира, включая, естественно, вас. Я бы даже сказал – от вас в первую очередь... Прячем, инсценировав смерть, так что родителям придется плакать так или иначе. Вы, со своей стороны, обещаете не искать с ней контакта в течение этих двух лет. Ни под каким видом».

«А потом?» – глупо спросил Бэрл.

Мудрец воздел руки к небу: «Боже милосердный!.. Сначала проживите их, эти два года, вы, влюбленный баран! А потом поговорим. Впрочем, я искренне надеюсь, что вы к тому времени поумнеете. Шарики в штанах обладают короткой памятью, хотя размерами и больше шариков в голове».

Бэрл кивнул. «Спасибо вам, Хаим. Это щедрое предложение. Я согласен».

«Подождите радоваться, – проворчал старик. – Я должен еще получить согласие Совета на изменение Протокола. Но это уже моя головная боль. Давайте пока поговорим об Абу-Айяде».

Они повернули назад, в сторону Тель-Авива.

* * *

Бэрл выехал из Офарима в полной темноте. Поселение уже спало; охранник на выезде, не глядя, открыл ворота. Бэрл свернул налево, в направлении Халамиша. На расстоянии нескольких километров от Офарима помещалась Шукба – большая враждебная деревня, один из знаменитых центров угона и «художественной разделки» на запчасти краденых израильских автомобилей. Вади справа от изрытого колдобинами шоссе было усеяно ржавыми скелетами машин. Бэрл остановил «Опель», не доезжая нескольких сотен метров до первых домов. С заднего сиденья он достал небольшой складной велосипед и быстро привел его в рабочее состояние. Затем он открыл багажник. Замотанный клейкой лентой Надир лежал на своем уже ставшем привычным месте. Впрочем, в ленте особой надобности не было – араб еще парил на радужных героиновых крыльях в райских садах своего мусульманского рая. На всякий случай Бэрл сделал еще один укол и только потом снял веревки и кляп. Легко вынув из багажника обмякшее тело, он переместил его на место водителя. Надир тихонько замычал. На лице его расплылась блаженная улыбка. «Прощай, сучара, – сказал ему Бэрл и открыл канистру. – Из грязи вышел, в грязь и возвращайся. Нефиг по Европам разъезжать...»

Через минуту он уже крутил педали, быстро спускаясь к шоссе. «Опель» полыхал на дне вади. BMW ждал Бэрла на стоянке рядом с армейским блокпостом.

Когда, выруливая между бетонадами, Бэрл проезжал пост, пожилой резервист в каске наклонился к его окошку: «Ты что, сюда из Офарима на велосипеде прикатил? И не страшно?»

«Чего не сделаешь ради похудания, бижу, – улыбнулся Бэрл. – Зато смотри, в какой я форме...» Он нажал на газ.

Глядя на быстро удаляющиеся задние огни кабриолета, резервист покачал головой. «Видал? Что ты на это скажешь? Чумовые они, эти поселенцы...» «Ясно, чумовые, – согласился его напарник, дремлющий на стуле около пулемета. – Выселить их всех к ядрене фене и дело с концами. Мы тут, как фраера, на бронированном джипе патрулируем, а этот ма.ньяк, видите ли, на велосипеде разъезжает...» Он сплюнул и закурил: «А тачка тоже не слабая. Упакован, видать, по самые уши…» «Еще бы, – отозвался первый милуимник. – На них-то наше сраное правительство денег не жалеет. Нет чтобы...» И они углубились в животрепещущую тему раздачи общественных слонов.

* * *

Дафна смотрела на него сбоку, приподнявшись на локте. Колеблющийся свет луны бродил по комнате, присаживаясь на постель, прислоняясь к шкафу, подбирая разбросанную в беспорядке одежду. Бэрл приехал поздно, и тем не менее она проснулась еще до того, как услышала шум машины, почувствовав его приближение издалека каким-то особенным звериным чутьем. Она выскочила к нему навстречу под моросящий ночной дождик, босиком, в одной рубашке, просясь на руки, как ребенок, изнывая от клубящегося в низу живота желания. И снова они плыли по тягучей и темной, искрящейся под руками воде; они сами были этой водой, медленно вливающейся в глохнущие раковины ушей; они были тянущим, пьющим, мягкогубым ртом, ортом и миртом, гуртом и топотом; вцепившись друг в друга, как в лодку, они взрывались в дробной, вихрящейся пене водопада...

«Что?» – переспросил он. «Бензин», – повторила она. Это были первые слова, которыми они обменялись.

«От тебя пахнет бензином. Ты работаешь на бензоколонке?»

«Нет. Я заправляюсь бензином как трактор. На обычном человеческом топливе с тобою не справиться…»

«Напрасные старания, милый. Сегодня тебе это не поможет. Я высосу тебя без остатка, как паучиха. Где ты был? Каждый день я знала, что умру, если ты не приедешь. Я умирала каждый день, и теперь я полна своими смертями. Ты должен выдолбить их из меня, слышишь?»

И снова мерцающий лунный свет бродил по комнате, гладил их сплетающиеся руки, их впечатанные друг в друга бедра, их приклеенные друг к другу животы; скользил по их блестящим от сладкого пота спинам, дрожал в серебряном отливе спутанных каштановых волос.

«Дафна. Я должен тебе что-то сказать…»

«Нет. Потом. Утром. А сейчас мы будем спать. Молчи…»

Они уснули, отказываясь разлучиться и во сне, этом самом одиноком после смерти состоянии человека.

Бэрл проснулся от звука закрываемой трисы. Дафна стояла у окна спиной к нему и осторожно тянула за ремень, изо всех сил стараясь не шуметь. «Зачем нам день? – сказала Дафна, кожею почувствовав его взгляд. – Давай притворимся, что еще ночь. Что нам стоит?» И они снова занялись любовью, утренней, спелой, сытой и медленной, как осень.

«Дафна…»

«Нет, давай не сейчас, потом...»

Он ласково, но твердо убрал ее защищающуюся ладонь со своих губ: «Послушай, девочка, это очень важно. Тебе придется уехать из страны. Года на два. Твои родители, друзья... все-все-все будут думать, что ты умерла. Это необходимо, иначе тебе придется умирать по-настоящему».

«Но почему? Ты же их всех перебил?»

Он горько усмехнулся: «Как видишь, не всех. Осталось более чем достаточно. И учти – они хотят тебя найти. Потому что ты теперь для них – единственное существо, которое еще может что-либо прояснить». Она нахмурилась. «А как же Ави и Арик? Гай? Или их тоже прячут?»

«Конечно, – сказал Бэрл, отворачиваясь. – Они уже спрятаны... да так, что надежней не спрячешься».

Речь вползала между ними, растекалась кривыми извилистыми протоками лжи, колыхалась отстойной, болотной зыбью недоверия. Оба чувствовали это, с тоской возвращаясь в серые декорации обыденности из дикого тропического сада близости, из их частного, немого мира на двоих.

«Я даже не знаю, как тебя зовут, – вдруг вспомнила Дафна. – Я даже не знаю, кто ты... Ты ведь не просто убийца? Я видела, как ты убиваешь. Ты наверняка профессионал... Кто ты – наемный киллер?» Она начала всхлипывать. Бэрл молчал. Он вдруг осознал, что все, что ни скажешь сейчас, прозвучит безнадежно плохо, запутает их еще больше, разведет еще дальше. Дафна тихо плакала, сидя на краю кровати, маленькая, испуганная, беспомощная девочка. Все также молча он обнял ее за плечи, притянул к себе, губами отодвинул каштановый завиток с мокрой щеки. «Шш-ш... – шипел он ей на ухо. – Ш-шш...» Странным образом она начала успокаиваться. И вдруг сами собой пришли слова, такие же ничего не значащие, бессмысленные, как и предшествовавшее им шипение и в то же время наполненные каким-то неведомым, целебным и очень нужным им обоим содержанием.

«Никому ни за что не отдам, – шептал он. – Ты моя девочка, ты моя... никому... ни за что...»

* * *

Вообще-то Зал заседаний Великого Синедриона помещался, как и положено, на горе Сион, за неприметной, ведущей в полуподвал железной дверью в слепом, загаженном ослами и туристами переулке, между Гробницей Давида и домом Каифы. Но Большой Совет в полном составе собирался нечасто, даже в это, легкое на подъем время. До эпохи воздухоплавания избрание в Синедрион означало обязательное переселение в Иерусалим, иначе собрать необходимый для важных решений кворум было бы просто невозможно.

Теперь Мудрецы слетались со всех концов планеты, не реже двух раз в год – на Суккот и на Песах. Да и в этом, честно говоря, не было особой необходимости, учитывая современные средства связи. Впрочем, кто думает о таких мелочах, как необходимость, когда речь заходит о традиции. А паломничество в Иерусалим в святые дни этих двух праздников почиталось непременной обязанностью для каждого из семидесяти членов Синедриона.

Из года в год, три тысячи лет они собирались там, в тесном каменном подвале, при свете смоляных факелов, масляных ламп, неоновых светильников, старые, мучимые подагрой и ревматизмом люди, управляющие этим миром. Отсюда вершились судьбы народов, тут создавались и рушились империи, возводились на престол и низвергались великие владыки, падали и взлетали биржи, развязывались войны, разрешались казавшиеся вечными конфликты.

Мудрецы вели этот мир по загадочной, заранее предопределенной, указанной в Книге Книг дороге. Но даже среди них, семидесяти избранных, только семеро умели прочесть непонятные для непосвященных таинственные дорожные знаки. Умирая, они передавали свое Знание следующим, из уст в уши, из века в век. Невидимые и всесильные, мудрые и жестокие, они всегда простирали над миром свою морщинистую властную длань. Всегда. И в эту минуту – тоже...

* * *

Хаим отпустил такси около мельницы. День был труден, и он устал. Освещенные множеством прожекторов стены Золотого Иерусалима возвышались напротив. Справа светилась гора Сион. Старик обратился к ней и вознес молитву. Он просил дать ему силы; он знал, что в этом будет ему отказано. Спустившись от мельницы по блестящей от дождя лестнице, он повернул налево и позвонил около одной из дверей. «Открыто!» – раздался скрипучий голос. Мудрец толкнул дверь и вошел.

Большая комната была жарко натоплена. Книжные стеллажи до потолка окаймляли ее с трех сторон. Четвертая стена представляла собою огромное окно, обращенное к Сионской горе. Тяжелые портьеры были раздвинуты, и Гора сияла во всем великолепии ночной подсветки под искрящимся ореолом дождя. Посреди комнаты возвышался огромный резной стол темного дерева; несколько жестких стульев с высокими спинками и два тяжелых кресла дополняли меблировку. «Проходите, Хаим, садитесь, – произнес сидящий за столом старик, указывая в сторону кресел. – Я сейчас освобожусь. Минутку...»

Он с видимым раздражением тыкал указательным пальцем в клавиатуру ноутбука: «Ну вот, что опять случилось? Вы знаете, Хаим, эти компьютеры просто выводят меня из равновесия. Стоит нажать на что-нибудь не то – и пожалуйста, будьте добры начать все сначала. Они называют это «перезапускать»... Временами я скучаю по старой доброй пишущей машинке. Она, по крайней мере, не нуждалась в перезапусках семь раз на дню...»

Несмотря на жару, старик был одет в теплый клетчатый домашний пиджак и байковые бесформенные брюки на подтяжках. Высокий, худой, костлявый, с тонкими угловатыми руками, огромным крючковатым носом и длинными седыми прядями, зачесанными назад с высокого лысого лба, он походил на старую птицу-секретаря.

В определенном смысле, это сходство было не случайным – Гавриэль Каган, один из семи столпов Большого Совета, исполнял деликатные обязанности «секретаря по нестандартным операциям». Не то чтобы прочие действия Сионских Мудрецов были такими уж стандартными; созданная на протяжении веков мощная структура существовала параллельно, а зачастую – вопреки законным механизмам общества; она прочно вросла во властные слои правительств, парламентов, судов; она проникла в армейские штабы, в профсоюзы, в банковскую систему; она контролировала прессу и телевидение, колледжи и университеты. Но даже на фоне этой сложнейшей, незримой для непосвященного, тайной работы, операции Гавриэля Кагана выглядели не вполне обычными... Его сеть занималась физическим устранением препятствий, проще говоря – ликвидациями и диверсиями.

Каган еще несколько раз раздраженно ткнул пальцем в клавиатуру и наконец, сдавшись, захлопнул крышку компьютера.

«Черт знает что такое...» – пробурчал он и встал из-за стола. Раскачиваясь на длинных ломких ногах, как на ходулях, он переместился в кресло напротив Хаима. Каждое его движение сопровождалось сухими щелчками коленных и локтевых суставов.

«Я вас слушаю, Хаим, – сказал он, ерзая в кресле, чтобы устроиться поудобнее. – Что за срочность такая?»

«Габи, я сожалею, о том, что отнимаю ваше время, – начал Хаим. – Это касается все того же амстердамского дела. У нас появилась возможность поймать Абу-Айяда…»

Старший Мудрец вопросительно поднял кустистые брови.

«Это резидент арафатовской контрразведки в Европе, – поспешно пояснил Хаим. – Держит в руках много нитей. Сотни агентов. Попортил нам немало крови...»

«Ну так что? – нетерпеливо прервал его Каган. – Поймать так поймать... И за этим вы пришли сюда? Хаим, если из-за каждого абу-бубу вы будете отвлекать меня от работы, мы далеко не продвинемся... У вас есть достаточно полномочий, чтобы решить этот вопрос самостоятельно».

«Габи, конечно же, я пришел не за этим. Дело в том, что я вынужден просить об изменении в Протоколе…»

Каган, щелкнув суставами, наклонился вперед. «Я надеюсь, что у вас есть серьезные основания. Протокол не изменяют каждый день...»

«Мне это известно не хуже, чем вам, Габи, – ответил Хаим с достоинством. – Поверьте, я бы не просил, если бы не полагал это необходимым. Речь идет о Протоколе заседания Малого Совета по поводу чистки внешнего круга, связанного с амстердамским провалом. Собственно, решение уже исполнено по всем участникам, за исключением одного, вернее одной. Относительно нее я и прошу изменения».

«Причины?» – сухо выстрелил Каган.

Хаим помедлил, собираясь с мыслями. Наступал решительный момент объяснения. Он заговорил, стараясь держаться максимально бесстрастно.

«Причины – чисто практического порядка. Один из моих ребят оказался вовлечен эмоционально. Исполнение решение по девушке означает для меня потерю этого солдата. А без него нам не взять Абу-Айяда».

«Почему – без него – не взять?»

Хаим чертыхнулся про себя. Это был прокол. Он продолжил так же бесстрастно: «Извините, Габи. Я имел в виду – без него взятие Абу-Айяда обойдется нам дороже и с меньшими шансами на успех…»

Каган кивнул: «Понятно…» Он помолчал. «Что ж, обманите своего солдата. Я не вижу необходимости изменять Протокол».

Хаим опустил глаза. Он знал, что должен ответить согласием, что никакие возражения уже не помогут, что его молчание говорит против него самого – и не мог заставить себя открыть рот.

«Послушайте, Хаим, – сухо сказал Мудрец. – Мне кажется, что эмоциональная вовлеченность в данном случае не ограничивается вашим солдатом. Я вынужден напомнить вам, что для нас подобные соображения должны быть категорически исключены. Давайте посмотрим на дело трезво. Ваш парень влип, что уже ставит под сомнение его личную надежность. Вы обещали ему спасти его девицу, поместив ее в карантин. Тем самым вы сохранили солдата по крайней мере на время этого карантина. До этого момента вы действовали правильно. Но на этом мои похвалы заканчиваются. Не было никакой причины приходить ко мне с просьбой об изменении Протокола. Вы могли просто продолжить его исполнение, не извещая об этом вашего солдата. Мне странно, что я должен объяснять вам столь очевидные вещи».

Хаим молча кивнул. Старший Мудрец встал и подошел к окну. Какое-то время он стоял там, слегка раскачиваясь на своих ходулях, затем сделал Хаиму знак подойти.

«Посмотрите, – сказал он, взяв одной рукой за плечо своего собеседника, а другой указывая на Гору напротив. – Видите, там, над Горой?» Он посмотрел на Хаима, напряженно и беспомощно уставившегося в танцующий над Городом дождь, и горько усмехнулся: «Вы не видите... Вы пока не видите... Но это не значит, что там ничего нет. Пока вы просто должны поверить мне. Мы с вами солдаты, Хаим. Мы – солдаты нерушимого, стройного и ясного плана, направляющего этот мир, не дающего ему свихнуться в тартарары. Этот план трудно понять, временами он противоречит всему нашему душевному строю, опыту, убеждениям; он ведом немногим, возможно, – всего лишь Семерым Мудрецам, семерым из пяти миллиардов. Но это не значит, что его нету. Он есть, и мы, его солдаты, не можем позволить себе жалость ни к ни в чем не повинной девушке, ни к чудом выжившему в Катастрофе старику, ни к вашему влюбленному солдату. И хотя в самой этой, такой понятной и такой человеческой жалости нет ничего преступного, она не должна, не имеет права, мешать торжеству Плана...»

Каган снял руку с хаимова плеча и снова повернулся к Горе.

«И уж конечно, она не должна мешать исполнению Протокола, – закончил он сухо. – Идите, Хаим. Идите и исполняйте».

Мудрец молча поклонился и пошел к выходу. У двери он обернулся. Гавриэль Каган по-прежнему стоял к нему спиной, неподвижно глядя в окно, как будто забыв о своем госте. Хаим вышел под дождь. Он испытывал странное чувство облегчения, как будто какая-то тяжесть упала с его плеч. «Упала ли? – поправил он сам себя. – Скорее, ее просто взял на плечи кто-то другой...» Так или иначе, он уже не чувствовал себя таким разбитым, как час тому назад. Быстрой семенящей походкой он спустился к Синематеке и взял такси. Каган же еще долго стоял у окна, обратив к Горе свое бледное, высоколобое, залитое слезами лицо.

Не слишком ли перемудрил? Шломо перечитал последнюю главку. Черт его знает... Надо сказать, что подобные сомнения посещали его нечасто, а когда все-таки посещали, то он быстро гасил их решительным напоминанием самому себе, что речь-то, в конце концов, идет о пошлой литературной поденщине, о тексте, измеряемом не качеством прозы, но погонными метрами. Зачем выеживаться? – для Урюпинска сойдет... Тем более, что пока ему еще не приходилось видеть свою бэрлиаду где-либо напечатанной, так что и сантиментов особенных он к ней не испытывал. Деньги идут, и слава Богу...

С другой стороны, не слишком ли круто он завернул с Сионскими Мудрецами? Уж больно скользкая тема, и не хочешь, а заденешь – того за локоток, этого – за задницу... Не обидеть бы Благодетеля – если он еврей, конечно... Хотя, по сути, – отчего тут еврею обижаться? Скорее, гордиться бы надо, раздувать, почем духу хватает, нелепую эту легенду – мол, смотрите все, какие мы, евреи, сильные ребята – весь мир за яйца держим! Не замайте! Берегитесь! Шломо остановился перед зеркалом и погрозил туда кулаком для пущей убедительности. Погрозил, да и засмеялся – уж больно смешон был этот чудак в зеркале – длинный такой, унылый еврей на пятом десятке, в махровом халате и стоптанных тапочках... еще и грозит кому-то – смех да и только.

«В общем, кончай дурить, Шломо, – сказал он сам себе решительно. – Для Урюпинска сойдет…»

Отправив главу, он выключил компьютер и пошел посмотреть, как там Женька. Женька, понятное дело, дрыхла. Вот уже несколько недель после возвращения из Бразилии она пропадала без дела, болтаясь по бесконечным вечеринкам, дискотекам, кафе, уходя из дому в десять-одиннадцать вечера и возвращаясь под утро. На робкие родительские возражения отвечала решительным указанием на собственную взрослую самостоятельность и свободу, как осознанную необходимость «найти себя».

«Может, и впрямь права девчонка? – говорил жене Шломо после того, как Женька уносилась в ночь, во всеоружии своего латиноамериканского загара, чуть сдобренного французским марафетом и эйлатскими фенечками на шее и на запястьях. – Может, и впрямь так и надо? Ну не знает она, чего хочет, ну не знает; что ж ты – убьешь ее за это? Дай ребенку осмотреться, еще успеет ярмо надеть...»

«Ребенку... – фыркала Катя. – Двадцать два года балбеске. Хоть бы на курсы какие записалась...»

Так или иначе, в настоящую минуту Женька, разметав по подушке выбеленные бразильским солнцем волосья, «искала себя» в неглубокой лагуне праведно-младенческого сна. Шломо постоял в дверях, глядя на нее и вследствие странного дефекта зрения видя не взрослую красивую спящую женщину, а двухлетнего ребенка, которого жалко, но надо будить и быстро-быстро одевать, натягивать платье, кофту, штаны и тащить еще сонную, теплую, сладко и недовольно зевающую – в детский садик на соседнем дворе и, скрепя сердце, оставлять там, в пропахшем горелой манной кашей вестибюле, стоящую с отвисшими на коленках пузырями колготок и тоскливо глядящую вслед уходящему папе; кто теперь от кого уходит, девочка?.. Шломо наклонился и тихонько поцеловал Женьку в висок.

«Не пора ли тебе вставать, красивая? Второй час как-никак...»

Женька недовольно заурчала и повернулась на другой бок. Шломо не стал настаивать – пускай ребенок поспит...

Он открыл банку пива и вышел на лестницу. Март катился к раннему в этом году весеннему празднику Песах, и иерусалимская природа, видимо предпочитающая лунный еврейский календарь солнечному европейскому, послушно сворачивала свои зимние порядки. Миндаль уже отцвел, на углу Мерказухи вовсю зеленело большое гранатовое дерево, а из жухлых запущенных газонов буйно перла молодая веселая трава. Ну чем не жизнь, а, Шломо? Вот стоишь ты, чистый и радостный, под весенним небом Пупа Земного, с банкой холодного пива в твердой руке, с любимым ребенком, безмятежно дрыхнущим за спиной, с бесценной женой на работе, за которую ей, вроде, наконец-то – тьфу-тьфу, чтоб не сглазить – удалось зацепиться, с очередным, только что законченным Бэрлом в компе; и все, слава Богу, здоровы, и долгов немного, и жизнь прекрасна, чудесна, лэхаим, жизнь, за тебя! Он глотнул пива и повернулся спиной к Иерусалиму, не в силах больше встречать грудью волны счастья, накатывающиеся на него из Города, как из моря.

Жаль, что расслабленное сознание даже в такой торжественный момент все-таки подкидывало ему всякие неприятные напоминания, мусор, щепки, выгоревший ветхий плавник мелочных бытовых забот. К примеру, вчера Катя твердо сообщила ему, что они званы всей семьей на пасхальный седер к ее начальнику, и отказаться невозможно.

«*Катя*горически?» – жалобно спросил Шломо. «Категорически», – рассмеялась она. И повернувшись к стоящей у зеркала Женьке добавила: «Кстати, к вам, красавица, это тоже относится».

Женька напряглась, но затем, взвесив материнскую интонацию, почла за благо не перечить. Она все же закинула пробное и вялое «ну маа-ама...», однако Катя подавила ее робкое сопротивление в самом зародыше.

«Без всяких «ма-ама» и без всяких «ка-атя», – сказала она решительно. – Вы, надеюсь, не хотите, чтобы я снова осталась без работы? И потом, это просто неудобно – для них это так много значит; не будем же мы обижать людей...»

Теперь надо было переться в далекую Нетанию, сидеть там в кругу незнакомых людей, слушать, кивать, улыбаться, что-то говорить самому, распевать вместе со всеми непонятные слова Агады, ждать, когда наконец будет дозволено есть, и в итоге с трудом выбираться из-за стола, сверх всякой меры обожравшись разными вкусностями... тоска... Шломо вздохнул и снова повернулся к Иерусалиму, надеясь вернуть прежнее ощущение ничем не замутненного счастья. Дудки. Город молча смотрел на него исподлобья своих холмов, видимо обиженный шломиным отношением к одному из самых святых его праздников. «Ладно кукситься, – улыбнулся Шломо. – Я же в конце концов еду. Причем со всей семьей…» Иерусалим подумал и сменил гнев на милость.

* * *

Перед тем, как отправляться в редакцию, Шломо решил забежать к Сене с Сашкой. Сашка жил там вот уже четвертую неделю, изгнанный, как и следовало ожидать, со всех своих прежних пастбищ. В издательстве ему показали на дверь уже на следующий день после публикации памятной статьи. В семье он продержался несколько дольше. Нельзя сказать, чтобы жена не сомневалась вовсе, но общественное давление все же возобладало. С нею перестали здороваться на улице и в лавке. Дети приходили из школы в слезах – одноклассники вдруг стали дразнить их «дегенератами» – по созвучию с незнакомым и непонятным словом «ренегат». Либерманы – семья дегенератов... В общем, через пару недель такой веселой жизни супруги сели на кухне, поговорили спокойно, без слез и пришли к очевидному решению. Сашка собрал чемодан, поцеловал насупленных детей и отбыл в гостеприимную Мерказуху, на скудные сенины харчи.

В первый же вечер друзья отметили новоселье рекордным даже по прежним временам количеством выпитой водки. Пили втроем – Катя отказалась присоединиться по принципиальным соображениям. Больше всех крушение сашкиной жизни переживал Шломо. Он даже всплакнул по этому поводу, открывая третью по счету бутылку «Голда».

«Не плачь, Славик, – успокоил его Сашка. – Это не последняя. У Сени в морозилке еще два «Кеглевича», а в буфете – «Балантайнс» заныкан. Правда, Симеон? Я все вижу...» И он погрозил пространству совершенно пьяным пальцем. До «Кеглевичей» дело, впрочем, не дошло, потому что почуявшая недоброе Катя разогнала компанию, забрав домой мужа и затолкав в постель Сашку. Сеня лечь отказался, заявив, что он еще будет рр-раб-ботать, и действительно, сел за компьютер, где незамедлительно заснул, положив щеку на клавиатуру.

Так ознаменовалось начало нового этапа в Сашкиной жизни, который, при ближайшем рассмотрении, оказался вовсе не таким трагичным, как это виделось Шломо. Газеты печатали его даже с большей охотой, чем прежде, обретя таким образом столь милый сердцу редакторов «баланс мнений» – ведь обличительный антисионистский пыл «нового» Сашки в известной степени уравновешивал общий правый уклон русскоязычной прессы. В дополнение к этому у Саши Либермана появились новые друзья.

Прежде всего, шум специфически «русского» скандала докатился и до погруженного в собственные сытые дрязги общеизраильского ивритоязычного истеблишмента. Для них история сашкиного «изгнания» из лагеря ненавистных поселенцев пришлась как нельзя кстати. Крупная израильская газета опубликовала большой материал под броским заглавием «Изгой». Особый упор в статье делался на беспардонную нетерпимость правых, без колебаний разрушивших семью и выкинувших человека на улицу только за то, что он осмелился бросить им в лицо горькую правду. Фотография Сашки с детьми красовалась на развороте субботнего приложения. Подпись гласила: «Увидит ли он теперь своих детей?» Изобразительный ряд статьи венчался комбинацией из двух других фотографий. На первой, с надписью «здесь он жил в разладе с собственной совестью...» была представлена роскошная вилла, долженствующая, видимо, изображать дом среднего поселенца, ибо ничего общего с конкретным сашкиным домиком в Долеве у нее не было. Второй снимок с похвальной реалистичностью отображал запущенную мерказушную сенину берлогу с заросшей окурками пепельницей на переднем плане. Текст под фото перекликался с предыдущим: «...а теперь он живет здесь, но совесть его чиста!»

Сеня, прочитав, рассмеялся: «На свободу – с чистой совестью...» Потом, отсмеявшись, добавил: «Знаешь, Сашка, не будь я с тобой знаком, я бы подумал – ну и сука... Но поскольку я с тобой знаком, то и думаю я иначе. Ты не сука, ты – просто мудак...»

На Сеню обижаться было не принято, Сашка и не обиделся. В эти недели он жил в каком-то исступленном опьянении своей новой жизнью, новыми знакомствами, новыми возможностями. Его стали приглашать на телевидение, брать интервью, спрашивать его ученое мнение по всевозможным поводам; он определенно становился величиной всеизраильского значения.

«Вот видишь, как просто стать звездой, – язвительно говорила мужу Катя. – Достаточно всего лишь ссучиться. Погоди, его еще и на хлебную должность пристроят, попомни мое слово…»

«Ты несправедлива, Катюня, – возражал Шломо. – Можно утверждать, что Сашка заблуждается. Можно сомневаться в правильности его логики. Одно для меня несомненно – он искренен. Да, он поменял свои убеждения. Ну и что? Разве это преступление? Человеку свойственно ошибаться, верно? Значит, человеку свойственно менять свои убеждения. Разве не так? Во всяком случае, я уверен, что Сашка сделал это в результате мучительного внутреннего развития, а вовсе не для всех этих коврижек».

«Не смеши меня, Славик, – отвечала Катя. – Фу-ты ну-ты – мучительное внутреннее развитие... Я щас прямо заплачу... Кризис переходного возраста у твоего Сашеньки. Помноженный на общую природную мудаковатость. Прибавь к этому бабу его страшную, которую он и не любил-то никогда. Конечно, не любил – что ты за голову хватаешься... Он тогда программу отъезда выполнял, если ты помнишь: покупал пианино, стоял в очереди на мотоцикл, учился вождению и искал жену».

«Ради Бога, Катя, – стонал Шломо. – При чем тут жена и мотоцикл?»

«Конечно, – уверенно продолжала Катя, гремя посудой в раковине. – Конечно. И вообще, знаешь, что я тебе скажу?» Она решительно поворачивалась к мужу, вытирая руки кухонным полотенцем с петухами:

«Просто за время своего диссидентства он привык мелькать в центре событий. Эмиссары из-за бугра, топтуны под окнами, видики на продажу, запретлит пачками, шубы с сапогами, адреналин ведрами... Он на эту жизнь подсел, как на иглу. Он с тех пор нормально жить не может, инвалид хренов. Жертва диссидентства».

«Как ты можешь так говорить? – Шломо пускал в ход последний козырь. – Если бы не героические усилия таких, как Сашка, мы бы еще сидели с тобой в тоталитарном Союзе. Это они разрушили Систему, такие вот сашки...»

«Сам-то ты в эту чушь веришь? – презрительно парировала Катя. – Бодались телята с дубом, а теперь говорят, мол, это мы его завалили... Смех, да и только».

«Что ж, по-твоему, он сам упал, этот дуб?»

«Может и сам... А может, ему снизу корни съели. Кто? – а черт его знает. Может, мы с тобой, Славик, и съели. В одном я уверена – телята эти бодливые тут не при чем. Какой с мудаков прок?»

Шломо смолкал, подавленный катиным напором. За всю их долгую совместную жизнь ему удалось победить в споре с Катей лишь однажды, когда, еще до свадьбы, он убеждал ее не делать аборт. Да и то, если говорить честно, большой его заслуги в том не было – скорее всего, она тогда сама, вполне сознательно, дала себя уговорить...

* * *

Шломо услышал спор еще с лестничной площадки. Кричал, конечно, Сашка; Сеня отвечал ему вполголоса, лениво растягивая предложения и интенсивно расчесывая правой рукой левую щеку.

«Промывка мозгов? – возмущенно вопрошал Сашка. – А у нас мозги не промыты? У него, – он ткнул пальцем в кстати подвернувшегося Шломо. – У него мозги не промыты? Мы, выпускники сталинско-брежневских университетов, как же мы любим похваляться нашим иммунитетом к промывке мозгов! Мол, мы-то стреляные воробьи, нас-то на мякине не проведешь... Только лажа это все, вранье. Конечно, насчет «партия наш рулевой» или, скажем, – он пощелкал пальцами, подыскивая пример. – Скажем...»

«Слава КПСС! – пришел к нему на помощь Шломо. – Все на уборку урожая! Генетика – продажная девка империализма! Из всех искусств для нас важнейшим...»

«Во-во, – прервал его Сашка. – На все это дерьмо у нас, конечно, иммунитет имеется, кто же спорит. Но, тем не менее, мозги у нас промыты плотно и основательно. Вот ты скажи, – обратился он к улыбающемуся Шломо. – Как насчет защиты Отечества, подвига во имя Родины... Это все как – хорошо? Плохо? Нет, ты скажи, не стесняйся...»

«Да не стесняюсь я, что ты, право, как петух какой-то наскакиваешь, – отодвинул его Шломо, все еще улыбаясь. – Конечно, защита Отечества – это хорошо. Только при чем тут промывка...»

«Ага! – торжествующе вскричал Сашка, как будто поймав его на чем-то. – Ага! Ты видишь, Сенечка? Промыты мозги, промыты... Десятилетия советской пропаганды не прошли даром! Не зря все эти падлы, все эти ждановы-сусловы работали; вот тебе результат! Отечество-хренечество... родина-уродина... Хрень это все, поймите. Одна есть в этом мире ценность – человек. Все остальное – чушь, шелуха, газетный блеф; всем остальным можно подтереться, если, конечно, не боитесь жопу запачкать...»

«Возможно, – лениво ответил Сеня и потянулся за сигаретой. – Возможно и так... Только пропаганда этой твоей позиции – тоже промывка мозгов. Хотя и в противоположном направлении. Мол, гуманизм, свобода личности, самореализация, геи с лесбиянками, все люди братья... Впрочем, «все люди – братья» звучит как-то по-шовинистски, правда? Ладно, не тушуйся, брат, давай заменим это на «все негры – сестры»... Что, тоже плохо? Ну не знаю...»

«Хорошо, – согласился Сашка. – Насчет промывки согласен. Только промывка промывке рознь. Мы противопоставляем фашистскому ура-патриотическому засиранию мозгов свою - гуманистическую промывку. Мы ж вас спасаем, дураков...»

«Мы – это ты со Слизняком?» – насмешливо осведомился Сеня и пустил в потолок струю дыма.

«А хоть бы и так, – с вызовом ответил Сашка. – И, кстати, у этого вполне достойного человека есть фамилия, так что ни к чему называть его этим мерзким прозвищем, в особенности, когда он не может тебе ответить…»

Шломо насторожился: «При чем тут Слизняк, Сеня?»

Так на их внутреннем жаргоне именовался некий депутат, создавший несколько лет тому назад организацию под скромным названием Институт Демократического Плюрализма. Прозвище «Слизняк» ему дала Катя, когда политические пристрастия новоиспеченного депутата еще не вполне просматривались.

«За что ты его так невзлюбила, Катя? – удивлялся тогда Шломо. – Он выглядит не хуже других «русских». Зато как на иврите чешет!»

«Скользкий он какой-то, – уверенно отвечала Катя, – ты только на рыло его масляное глянь. Иуда-иудой...»

Шломо ухмылялся: «Катюня, Иуда – весьма распространенное еврейское имя...»

Зато потом, когда выяснились источники финансирования «Института», катиному торжеству не было предела. «Нет, ну ты видишь, как я его раскусила? – торжествовала Катя. – Сволочь гадкая... Он только что террористам патроны не покупает...»

«При чем тут террористы, Катя? – урезонивал ее Шломо. – Если Европа хочет пропагандировать в Стране определенную точку зрения, в этом нет ничего противозаконного…»

«Как же! Ничего противозаконного! А то они не знают, что на их деньги закупается оружие и пластиковая взрывчатка! Ты видел арабские учебники, где Израиля нет на карте? – Они печатаются в Европе и за европейские бабки! И твой Слизняк подъедается из того же корыта. Что за пакость... тьфу! Иуда, Иуда и есть...»

В те дни Женька еще служила в армии – катину горячность можно было понять.

«В самом деле, при чем тут Слизняк, Саша? – невинно осведомился Сеня. – Расскажи другу дорогому...»

Сашка молча развел руками, хрюкнул, начал что-то говорить, передумал и нервно прошелся по комнате. «Расскажи, расскажи, что ты стесняешься, – издевательски подначивал его Сеня. – Спой, светик, не стыдись…»

«А мне стесняться нечего, – вызывающе сказал Сашка. – Нашлись моралисты на мою голову…» Он еще раз прошелся по комнате и наконец остановился перед Шломо. «Видишь ли, Славик, – неловко начал он, глядя в угол. – Мне предложили читать курс лекций в Институте Плюрализма. По теме «Нравственный выбор журналиста»...» Он замолчал. «И?.. – подтолкнул его с дивана Сеня. – И?.. Заканчивай, чего уж там…»

«И... я согласился…»

Кто-то вдруг хлопнул ладонями в шломиной голове, притопнул и, высоко вскидывая колени, запел: «подружка моя, ты не сомневайся...»

«Эй, Славик, что ты молчишь, скажи что-нибудь, – позвал его Сеня. – Ты смотри, Саш, как его тряхануло... Впечатлительный ты наш…»

Шломо и в самом деле молчал, не к месту улыбаясь и тщетно пытаясь справиться с внутренним своим топотуном, на высокой ноте выводящим: «...я пойду его встречать, а ты одевайся!» Сашка по-прежнему стоял истуканом; потом, так и не дождавшись шломиной реакции, развел руками и начал кружить по комнате.

«Смотри, Александр, – солидно сказал Сеня, закуривая. – Оставляя в стороне твое присоединение к Слизняку, которое и в самом деле выглядит несколько... э-э-э... чрезмерным даже на фоне твоих нынешних духовных исканий, я должен заметить, что твои рассуждения по поводу промывки мозгов все же не вполне корректны. Ты говоришь: «или-или». Либо промывка националистическая, либо промывка гуманистическая. Надо только выбрать – которая из них лучше. Так?» Сашка кивнул.

«А если я, к примеру, не хочу никакой промывки? – продолжил Сеня. – Ни-ка-кой. Если мне в равной степени наплевать и на идеалы сионистского Отечества и на прекрасные идеалы гуманизма? Для меня – высшая ценность – Я Сам. Разве плохо? Шкурно, зато честно. Чем не вариант?»

«Подружка моя, ты не сомневайся...» – задумчиво пропел Шломо.

«О! – радостно подхватил Сеня. – Вот и царь Шломо прорезался. Скажи уже что-нибудь, порадуй нас откровениями верного мужа и друга…»

«Где уж мне с моими промытыми мозгами, – все так же задумчиво отозвался Шломо. – Хотя, знаете... Вот вам несколько наблюдений моего филистерского сознания. Во-первых, твой, Сеня, вариант – совсем не третий, потому что Сашкин гуманизм в итоге сваливается именно к провозглашенному тобой шкурничеству. А как же иначе? Все человечество любить – это уж больно неконкретно, сплошной туман. А собственная шкура – вот она, родная, всегда под рукой. Так что себялюбие – это гуманизм на практике.

Во-вторых, если уж выбирать между двумя промывками... Я не вижу ничего плохого в защите своего дома, семьи, друзей, Отечества, коли на то пошло. Да и при чем тут промывка мозгов? Разве не естественно защищать группу, к которой принадлежишь? Волки дерутся за свою стаю, муравьи – защищают свой муравейник. До смерти, заметьте, защищают. У них что – тоже мозги промыты?»

Сашка в отчаянии хлопнул себя руками по бедрам: «Но ты-то не муравей, не волк! Ты человек, тебе затем разум и даден, чтобы изжить в себе психологию стаи!»

«С чего ты взял? А может, – как раз таки затем, чтобы эту стаю получше организовать, защитить? Ты пел что-то о самореализации. Но настоящая самореализация бывает только в рамках группы. Или во имя группы. Если, конечно, не брать нашего Сенечку в качестве обратного примера... Он-то реализовался в полной мере, не так ли, Сеня?»

В комнате наступило молчание. Потом Сеня погасил сигарету и, прищурившись, посмотрел на Шломо: «Спасибо тебе, Славик, на добром слове. Чаю хочешь?»

«Не за что, – смущенно ответил Шломо. – Сам напросился. А чаю не надо, я уже на работу опаздываю. Так что мы с подружкой пойдем…»

«С какой подружкой?»

«Да есть тут одна приставучая...» – и он вышел, напевая накрепко привязавшуюся «подружку».

«Подружка моя, ты не сомневайся – я пойду его встречать, а ты одевайся. Или – раздевайся? Черт его знает... Подружка моя...» В голове его было пусто и звонко, и не хотелось ни о чем думать.

9

В Барселоне Бэрл остановился в неприметном отеле «Сити Парк», в десяти минутах ходьбы от вокзала «Сантс». На этот раз сюрпризов не было. Чемодан ждал его в платяном шкафу. Вытряхнув на кровать незатейливое содержимое верхнего отделения, Бэрл щелкнул потайным замочком второго дна и приступил к осмотру своего арсенала. Помимо обычной «беретты» с глушителем и спецпатронами, чемодан содержал недурной набор штурмового оружия – гранаты, укороченный десантный «узи» и девятимиллиметровый «ерихо» с обычным снаряжением. Бэрл остался доволен. «Беретта», незаменимая в быстрых контактных ликвидациях, мало чего стоила в открытом бою. Тут Бэрл предпочитал оружие израильского производства.

С членами своей группы он встречался в маленьком открытом кафе, там, где кривая Авенида де Мадрид, побыв какое-то время короткой и куцей Авенидой де Берлин, окончательно превращалась в Авениду де Париж – прямую, длинную и ухоженную. Бэрл пришел на встречу заранее, но оба парня уже были на месте, поджидая его за крайним столиком. «Привет, ребята, – улыбнулся он, присаживаясь. – Меня зовут Бен. Кто на этот раз вы?»

Они уже встречались несколько раз по разным поводам, в разном составе и под разными именами. Все трое принадлежали к внутреннему кругу и нередко дублировали друг друга, иногда даже не подозревая об этом.

«Стив». «Джеки».

«Сойдет, – согласно кивнул Бэрл. – Надо бы выпить за знакомство. Что вы такое глушите? Пиво? В такое-то время дня и года? Кто вас только обучал...» Он махнул рукой официанту: «Эй, бижу! Принеси-ка мне Мартель и эспрессо».

«Не у всех есть русские корни, Бен, – саркастически заметил Джеки, ладно сложенный, жилистый парень восточной наружности. – Есть и такие, что этот французский клопомор на дух не переносят...»

«...предпочитая зашариваться травкой», – жизнерадостно закончил за него Бэрл. Все трое расхохотались.

«Ладно, ребята, – сказал Бэрл, пригубив коньяку. – Давайте переходить к делу. Прежде всего – у всех все в порядке? Все штатно?» Его собеседники кивнули.

«Отлично. Персонаж – Абу-Айяд, живой, по мере возможности. Думаю, я не должен объяснять вам, кто он... Вот и славно. Сюжет – завтра вечером он ждет своего приятеля на ферме около Гироны. Помимо него, там может быть до шести грязных. Установка на них – обычная. Я подбираю вас на железнодорожной станции Гироны в шестнадцать сорок. И не забудьте захватить с собой свои игрушки. Вопросы?»

«Источник сюжета?» – спросил Стив. Бэрл помолчал. Вообще говоря, он не обязан был отвечать на этот вопрос. Но и тихарить особой причины не было.

«Источник – тот самый приятель, которого Абу-Айяд ждет на ферме. В настоящее время горит себе – не сгорает в адовом серном пламени. Чего и другу своему желает…» Бэрл помрачнел, вспомнив свои ночные бдения с нагероиненным Надиром в подвале на улице Шамир.

«Итак, до завтра, – он допил коньяк и встал. – Постарайтесь не слишком надуваться пивом. Замедляет реакцию».

* * *

Назавтра, около девяти утра Бэрл вышел из здания гиронского вокзала. Машина ждала его на близлежащей стоянке. Это был обычный для здешних мест пикап «Пежо», с маленьким кузовом и двойной кабиной. Почти не сверяясь с картой, Бэрл выехал из города в северном направлении и свернул налево, к невысоким зубцам Пирренейских предгорий. Узкое шоссе петляло между разрозненными хуторами и маленькими деревеньками, ощутимо забираясь наверх, в горы Сьерра-де-лас-Медас. Проехав с полчаса, Бэрл увидел нужный ему указатель. Еще несколько километров узких горных долин, и вот, наконец, справа, в сотне метров от грязной грунтовой дороги, перед ним возникла небольшая, ничем не примечательная усадьба, отгороженная от чужих глаз прямоугольником пыльных кипарисов.

Бэрл проехал мимо, не замедляя хода. Пока он не мог пожаловаться на точность описаний, данных ему покойным Надиром. Дай-то Бог, чтоб и дальше так... Лощина вильнула вправо и начала сужаться. Лучше не придумаешь, – порадовался за себя Бэрл. Он свернул с дороги на еле заметный проселок, забиравший вверх по крутому склону невысокого лесистого отрога, окаймлявшего лощину с севера. Проселок закончился небольшой лужайкой; дальше ехать было невозможно. Бэрл приткнул пикап под деревом, вышел и осмотрелся. Как он и предполагал, по гребню хребта, меж густыми зарослями дикого кустарника, вилась вполне утоптанная тропинка. Пройдя по ней несколько сот метров, Бэрл увидел сквозь путаницу веток знакомые очертания кипарисного каре. Усадьба лежала перед ним, как на ладони. Бэрл устроился поудобнее и вынул бинокль из рюкзака.

Двор был пуст, не считая двух машин – раздолбанного пикапа и пыльной белой «тойоты-королла». Вся усадьба состояла из каменного двухэтажного дома с плоской крышей и бревенчатого гумна на высоком кирпичном цоколе. Никакой живности Бэрл не заметил; в особенности его порадовало отсутствие собаки. Отчасти это уже характеризовало нынешних хозяев усадьбы – все знакомые Бэрлу арабы испытывали стойкую неприязнь к собачьему племени; впрочем, собаки платили им тем же.

Ближе к полудню из дома, потягиваясь, вышел высокий парень в куртке, сел в «тойоту» и завел двигатель. Потом показался второй, повозился у двери с замком и присоединился к первому. «Тойота», переваливаясь на колдобинах, выбралась на грунтовку и укатила в сторону Гироны. Это выглядело настоящим приглашением. Бэрл поразмыслил и решил не отказываться. Он осторожно спустился со склона, расчищая путь от сухого валежника и шатких камней, помечая удобные места и обозначая обход естественных препятствий. Спустившись до самого низа, он недовольно покачал головой, вернулся наверх по своим следам и снова отрепетировал спуск. Он проделал эту операцию четырежды, прежде чем остался доволен результатом. Теперь можно было заняться домом.

Бэрл посмотрел на часы. По его расчетам, до возвращения хозяев оставалось не более двадцати минут. Надо было поторапливаться. В несколько прыжков он преодолел травянистый выгон, отделявший край зарослей от заднего ряда кипарисов. Дом высился перед ним, неожиданно большой, защищенный мощными решетками на окнах подвала и первого этажа. Задняя дверь, прежде незамеченная Бэрлом, была заперта изнутри. Он поднял голову. Окно наверху было приоткрыто, и сквознячок выдувал наружу белую занавеску, словно сам дом сигнализировал о добровольной сдаче невероятному бэрлову везению. Думать было некогда. Бэрл решительно вскарабкался к окну, влез внутрь, и, не медля ни секунды, понесся по дому, фотографируя сознанием расположение комнат, мебели, размеры простреливаемых пространств и расстояния между углами.

Наконец он очутился в кухне, с внутренней стороны заднего входа. Опять удача! Дверь не закрывалась на засов – только на большой врезной внутренний замок. Теперь оставалось найти ключ. Твердо веря в свою звезду, Бэрл выдвинул ближайший к двери ящик кухонного буфета. Бинго! Он торжествующе вставил ключ в замочную скважину, дважды повернул и распахнул дверь настежь. И замер.

Прямо перед ним стоял молодой араб в бейсбольной шапочке и с глуповатой улыбкой, застывшей на безбородом, окаменевшем от неожиданности лице. «Ты кто?» – спросил он Бэрла и полез рукой за спину. «Моше Даян», – ответил Бэрл шепотом, на втором слоге ударяя парня по ушам обеими руками, отчего, вероятно, тому не привелось расслышать фамилию героического израильского полководца. Бэрл подхватил обмякшее тело араба и втащил его в дом. Откуда он тут взялся, черт его забери? Спал на гумне? Больше неоткуда – к дому точно никто не подъезжал, Бэрл бы услышал... Он выругал себя за идиотскую непредусмотрительность – надо же, полезть в дом, забыв проверить гумно! Так и надо дураку – раскатал губу от невиданной прухи, так лезущей на него с самого утра...

Кляня себя за детскую ошибку, Бэрл волочил араба в гостиную. Не давая ему придти в себя, он взгромоздил его на стул и, близко глядя в глаза, зашептал горячим шепотом: «Я – твоя смерть, бижу, понял? Смерть, понял? Понял?»

Араб кивнул в ужасе, не в силах отвести расширенных зрачков от душного бэрловского взгляда.

«Меня слушать надо, понял? На, пиши, пиши же, ну...» – Бэрл придвинул лежащий на столе блокнот и сунул ручку в дрожащие пальцы парня. «Пиши: «уехали жрать, а меня бросили?» Вопросительный знак поставь, быстро. Теперь дальше: «скоро вернусь». Молодец. Теперь напиши свое имя. Как тебя зовут? Халед... Приятно познакомиться, Халед». И на этой оптимистической ноте Бэрл свернул ему шею.

Подняв тело, он отнес его на заднее сиденье стоявшего во дворе пикапа. Времени уже совсем не оставалось. Бегом Бэрл вернулся на кухню. Схватив со стола бутылку масла, он аккуратно смазал петли, замочную скважину и ключ. Вытер масло рукавом куртки. Закрыл дверь на ключ снаружи. Сунул ключ в карман. Поднял с земли пистолет и кепи Халеда. Бегом – к пикапу. Выезжая на грунтовую дорогу, Бэрл с беспокойством посмотрел в зеркало заднего обзора. Дорога на Гирону была пуста. Он дал газу в противоположном направлении.

На свой наблюдательный пункт Бэрл вернулся через полчаса. Белая «королла» уже стояла во дворе. Один из арабов, раскорячившись посреди двора, громко звал Халеда, сложив руки рупором и обратясь к лесистому хребту. Казалось, он смотрел прямо на Бэрла. «Хале-ед! – кричал араб. – Йа Хале-е-ед!»

«Что ты вопишь, кретин, – чертыхнулся Бэрл. – Спит он, твой Халед. Скоро и ты уснешь, недолго уже осталось...»

Второй араб вышел из дома, держа в руках блокнот. Они еще постояли там какое-то время, оживленно жестикулируя и очевидно осуждая недисциплинированного соратника. Бэрлу стало скучно. Он вдруг обнаружил, что зверски проголодался. Вернувшись к своему пикапу, он выбрался на шоссе и поехал в сторону, противоположную усадьбе, рассчитывая вернуться в Гирону кружным путем через Амер. Не стоило лишний раз искушать судьбу, мелькая туда-сюда перед окнами дома. Там ведь, небось, скучая по Халеду, все глаза проглядели, на дорожку-то глядючи.

* * *

«Каталонский экспресс» из Барселоны прибыл в Гирону точно по расписанию. Бэрл подъехал к выходу из вокзала, как раз когда первые пассажиры начали выходить в город. Он остановился около Стива, прикуривающего сигарету и, перегнувшись через сиденье, распахнул дверцу: «Поехали, Стивви. И брось ты эту соску. Ты ведь уже большой мальчик. А где твой приятель?»

«Сейчас выйдет, – хладнокровно ответил Стив, затягиваясь. – Попросился в туалет, по-маленькому. Я пустил».

«Молодец, – одобрил Бэрл. – Забота о личном составе украшает командира. А вот и Джеки. Говорил я тебе вчера, сынок, – не надувайся пивом...»

«Что за люди, – сокрушенно заметил Джеки, забираясь в кабину. – Пописать не дадут последний раз в жизни...»

Бэрл и Стив суеверно переглянулись. Эта шутка была, на их вкус, совершенно лишней.

Выехав из города, Бэрл остановился. На листе бумаги он нарисовал план дома и подробно описал его. Стив и Джеки внимательно слушали. Остальное он договаривал по ходу движения – Бэрл надеялся успеть вернуться на место до приезда главного действующего лица.

Возвращался он тем же кружным путем, в объезд усадьбы. Халедов пикап стоял там, где Бэрл оставил его – на лужайке, в конце тупикового проселка. Свою машину Бэрл снова припарковал под деревом, капотом в направлении выезда.

«Стив, Джеки, – сказал он, глуша мотор, – очистите от падали вторую тачку. Только снимите с него куртку. Она нам сегодня еще пригодится».

Был уже седьмой час, когда они оказались на наблюдательном пункте. В сгущавшихся сумерках Бэрл сразу различил джип «террано», уткнувшийся своим тупым носом в кипарисы рядом с «короллой». В гостиной на первом этаже горел свет. В доме явно были новые гости. Вопрос – сколько?

«О'кей, – сказал Бэрл. – Действуем как договорились. Скорее всего, их в доме шестеро, включая Айяда. Стив, после того, как войдем, бери левую часть гостиной. Джеки, въезжай вальяжно, не торопясь. Перед поворотом с шоссе просигналь дважды – пусть знают, что хозяин едет. Помни, по комплекции ты почти неотличим от Халеда, плюс куртка и кепи, плюс темнота. Проблем быть не должно. К тебе выйдут, скорее всего, двое. Оба твои. Кончай с ними, проверь гумно, только быстро, и – к нам через главный вход. Дальше – по обстановке. Напоминаю еще раз – Айяд нам нужен живым. Так что постарайтесь не попортить продукт. В крайнем случае – по ногам и в плечи. Остальные – мусор. Ферштейн?»

Быстро темнело. Они подождали еще с час. Наконец Бэрл кивнул: «Джеки, братишка, давай вперед, с Богом. Куртка и кепи в пикапе. И ты это... не очень-то прыгай. Побереги связки, чтобы не было как тогда, в Дортмунде...» Джеки улыбнулся: «Не нервничай, Бен, все будет в порядке. Увидимся…» Он бесшумно исчез в темноте. Бэрл сделал знак Стиву, и они начали осторожный спуск по размеченному маршруту. Через пять минут они стояли, прижавшись к стене у задней двери. С шоссе донесся шум неторопливо приближающейся машины. Бэрл переложил «узи» в левую руку и достал ключ. Он отчетливо слышал, как кто-то протопал по лестнице наверх. Пикап свернул на подъездную дорожку и просигналил дважды. Бэрл повернул ключ в замке почти синхронно со вторым сигналом. Щелчок замка хлестнул их по натянутым нервам. Они прислушались. В доме были, видимо, поглощены приближающимся пикапом. «Ну? – громко спросил кто-то из гостиной. – Что там?» «Халед, собака, – ответили сверху. – Ну я ему шею намылю, ма.ньяку...»

Бэрл услышал, как отворилась входная дверь, и кто-то вышел навстречу паркующейся машине. Двое. Укороченная М-16 у каждого; они несли винтовки как чемоданы, в опущенной правой руке. Бэрл видел их со спины, приближающихся к пикапу, к Джеки, который, не торопясь, вылез с противоположной стороны кабины и теперь, опустив голову, делал вид, что возится с чем-то на заднем сиденье.

«Халед, йа маньяк! – сердито позвал его один из арабов, подойдя к машине метров на пять. – Кто ж так делает, собака ты этакая?»

Джеки выпрямился и вышел из-за машины. В каждой руке он держал по «узи». «Зачем же так ругаться? – удивленно и мягко спросил Джеки на чистом иврите. – За это вас папа сейчас отшлепает...» И открыл частый огонь одиночными с двух рук.

В следующую секунду Стив с Бэрлом уже стояли на пороге гостиной. С этой стороны их там явно не ждали. «Стоять! – крикнул Бэрл. – Бросай оружие!» Трое арабов, уже собиравшихся выскочить из комнаты в сторону входного холла, ошарашенно обернулись. Моментально идентифицировав Абу-Айада, Бэрл прыгнул на него, полностью полагаясь на Стива, который в этот момент шпиговал рваными кусочками свинца двух других обитателей гостиной. Они даже не успели поднять автоматы. Абу-Айяд быстро пришел в себя и бешено сопротивлялся, но Бэрл был сильнее. Он уже оседлал противника и заламывал ему назад руки, когда сверху раздалась пулеметная очередь. «Черт! – вспомнил Бэрл. – Наверху...» Он оглянулся на Стива. Тот бежал вверх по лестнице, выдергивая зубами гранатную чеку. Бэрл прижал айядову голову к полу и, высвободив руку, надавил на сонную артерию. Араб отключился. Наверху с короткими промежутками прогремели три взрыва. С потолка посыпалась штукатурка. Бэрл вытащил из кармана моток клейкой ленты и начал вязать Абу-Айяда. Локти. Кисти рук. Сверху с бешеной скоростью скатился Стив и бегом бросился во двор. Ноги в коленях. Щиколотки. Рот. Бэрл поднялся с пола и, подобрав «узи», осмотрел первый этаж. Никого. На двери, ведущей в подвал, висел амбарный замок. Черт с вами... Он вернулся в гостиную. Со второго этажа по лестнице валил дым – там явно начинался пожар. Бэрл поднял за ремень спеленатого Абу-Айяда: «Пойдем, бижу... Не дай Бог угоришь. Ты у нас теперь на вес золота…» Он вдруг понял, почему всеми своими подсознательными силами оттягивал момент выхода во двор. Джеки...

Джеки лежал у входа в гумно, там, где его настигла пулеметная очередь. Хватало одного взгляда на его развороченный крупным калибром живот, чтобы понять, что жизни в нем осталось немного. Стив подложил ему что-то под голову и теперь сидел рядом, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Бэрл подошел, волоча за собой Абу-Айяда. Он поднял его повыше, так чтобы Джеки видел и с силой швырнул на землю, искренне надеясь сломать ему при этом позвоночник. Затем он наклонился над умирающим. «Видел, Джеки-бой? – спросил он. – Вот он, этот кусок дерьма. Стоит ли он грязного ногтя с твоего мизинца?»

«Бен, – прошептал парень, выдувая кровавые пузыри углами ссохшегося рта. – Бен, я не Джеки. Меня зовут...»

«Шш-ш... – прервал его Бэрл. – Не говори. Меньше трепешься – здоровее будешь...»

Джеки улыбнулся. «Не ко мне, бижу. Я – уже не буду». Он вдруг начал смеяться, мучительно морщась и булькая растерзанными внутренностями: «Я ж вам говорил... последний раз... я тогда и в самом деле последний раз пописал... говорил... а вы... мать вашу...»

«Еврейский юмор», – сказал Бэрл без улыбки. Джеки еще раз булькнул, дернулся и умер.

Бэрл обернулся на дом. Верхний этаж уже полыхал вовсю. «Стив, – сказал он, дергая напарника за руку. – Эй, Стив! Быстро, «тойоту» к гумну...» Подняв мычащего и дергающегося Абу-Айяда, он перетащил его на заднее сиденье пикапа и вернулся к Стиву:

«Давай, парень, шустрее... Джеки уже не вернешь. Ну-ка помоги...» Вдвоем они осторожно положили Джеки на капот «тойоты» и загнали ее в сарай. Отвинчивая крышку бензобака, Бэрл окинул взглядом помещение и присвистнул:

«Э, да тут целый арсенал!» И в самом деле, стеллажи вдоль стен были уставлены ящиками оружейного содержания. Но времени разбираться с этим подробно не было. Хотя усадьба и стояла на отшибе, нашумели они изрядно. Звуки боя наверняка были слышны в близлежащих деревнях. Требовалось сматываться, и побыстрее. Стив чиркнул зажигалкой, и они выскочили из гумна. Через минуту их пикап выехал на дорогу, оставляя за собой пылающую усадьбу.

Местная полиция поворачивалась не быстро. Бэрл со Стивом успели сменить халедов пикап на бэрлов, успокоив при этом Абу-Айяда хорошим уколом снотворного и плотно запаковав его под задним сиденьем, а дорога оставалась такой же пустынной, какой и была полчаса тому назад, когда все, за исключением Халеда, были еще живы. Они уже проехали Амер, когда до них донеслось эхо далекого взрыва. «Ого, – сказал Бэрл. – Взрывчаткой они запаслись на пять фатхов и десять хамасов... То-то шуму будет в завтрашних газетах; бьюсь об заклад, что все спишут на басков. Стив, да не молчи ты, скажи хоть слово, я так с ума сойду».

«Я с ним в одном взводе служил, – сказал Стив глухо. – В «Голани». Вместе Ливан прошли. Три года в одной палатке... И вот – даже не похоронил. Сжег, как собаку...»

«Знаешь что, – сказал Бэрл. – Лучше уж молчи».

* * *

Проехав Англес, они еще раз поменяли машину, переложив свой груз в багажник «пассата». Груз мычал, но в целом вел себя смирно. Через час за окнами замелькали огни отелей и кемпингов Коста Брава. Севернее Бланеса Бэрл свернул к берегу и припарковался возле одинокого красного «мондео». Море перед ними сияло огоньками далеких и близких яхт. Бэрл трижды мигнул фарами. Одна из яхт, стоявшая не более чем в миле от берега, мигнула в ответ. Бэрл вздохнул: «Ну вот и все, Стив. Надеюсь, мы с тобой еще увидимся».

Стив молча кивнул.

«Жаль, что Джеки так не повезло, – продолжил Бэрл. – Я понимаю, что это плохое утешение, но все мы когда-нибудь так кончим... Возьми отпуск, мой тебе совет. Отдохни…» Стив снова кивнул.

От яхты отвалил катер и стал приближаться к берегу. «Нам пора», – сказал Бэрл. Они пересели в «мондео». Ключ торчал в замке зажигания. Бэрл развернул машину и погнал в сторону барселонского аэропорта. В кармане у него был билет на ночной рейс в Цюрих. Стив летел во Франкфурт.

10

«Сколько можно собираться? – недовольно сказал Шломо. – Теперь мы точно опоздаем. Неудобно...»

Он сидел в кресле, вытянув ноги перед включенным на русский канал телевизором и беспомощно наблюдал за Катей и Женькой, которые вот уже битый час метались между единственным семейным платяным шкафом, стоящим в спальне и единственным большим зеркалом, висящим в салоне. Они успели уже дважды перемерить все туалеты и теперь пошли по третьему кругу, оживленно обсуждая при этом каждую перемену одежды.

«Ах, папа, – досадливо бросила ему Женька, проносясь мимо в направлении спальни. – Когда ты наконец привыкнешь? В Израиле не опаздывают только фраера». «А я и есть фраер, – упрямо отвечал Шломо. – Поздно мне на урку переучиваться». «Славик, подбери ноги... – это уже Катя, бегущая противоположным курсом. – Я все время о тебя спотыкаюсь, неужели непонятно?»

Шломо обиженно подобрал под себя ноги. Телевизор талдычил про Чечню. Потом перешли на погоду. В Питере шел дождь.

Подскочила Женька: «Папа, застегни мне браслет... Да не так... Вот эту штучку – сюда...» Шломо, старательно сопя, склонился над ее рукой.

«А сам-то ты когда одеваться думаешь? – спросила Катя из ванной. – Нас подгоняешь, а у самого еще конь не валялся…»

«Ну вот, начинается, – подумал Шломо. – Похоже, теперь они и по мою душу освободились…»

Он вцепился в подлокотники кресла и сказал с фальшивым металлом в голосе: «Я уже давно одет».

«Папа, ты что, с ума сошел? – фыркнула Женька и, встав перед зеркалом, изогнулась невообразимой дугой, отыскивая на себе еще не вполне исследованные места. – Нельзя же идти в этом на пасхальный седер!» Она развела руками, следя за траекторией браслета. «Мама, ты слышала? Скажи ему...»

Катя высунулась из ванной. «Слава, прекрати эти глупости. Идти в этом совершенно невозможно…» Они произносили это свое «в этом» таким тоном, как будто Шломо был одет не в обычные свои брюки со свитером, а в ирокезский наряд с перьями и боевой раскраской. Сопротивляться было бессмысленно.

«Что же я, по-вашему, должен надеть?»

«Как будто тебе надеть нечего! – возмутилась Катя, ловя щеточкой норовившие ускользнуть ресницы. – Пожалуйста, не строй из себя несчастного!»

Шломо ненавидел собираться в гости.

«Надень голубую рубашку с ромбиками – ту, что я купила тебе в «Полгате», помнишь?.. и жакет», – смилостивилась Катя. Шломо, кряхтя, встал с кресла и пошел переодеваться.

Когда он вернулся в салон, его встретили две ослепительные улыбки. Покончив с обычным зеркалом, Катя и Женька нуждались в живом отражении их безусловной и победительной красоты. Шломина реакция на этом этапе играла роль живого зеркала. Эту роль он знал назубок, исполняя ее мастерски и с удовольствием. Главное условие тут заключалось в том, чтобы не жалеть красок. Чем грубее и чудовищней выглядела лесть, тем довольнее оставались его самодержавные властительницы. В конечном счете это положительно сказывалось на самом Шломо. А потому, увидев знакомые вопрошающие улыбки, он немедленно включил программу выполнения социального заказа, то есть, пошатнулся и заслонил глаза ладонью с растопыренными пальцами, щурясь, как от нестерпимо яркого света.

«Вау! – воскликнул он сдавленным голосом. – Вау! И еще раз вау! На этот раз это просто невыносимо. Нельзя быть столь подавляюще красивыми! Вас обеих нужно бросить в тюрьму! Хотя и это не поможет – вы расплавите камни и решетки вашей громокипящей прелестью!»

Гм... неплохо, неплохо... Ему самому понравился лихо закрученный комплимент. Тем не менее, проверив сквозь растопыренные пальцы реакцию своих женщин, он обнаружил, что чего-то все-таки не хватает. Что ж, приходилось вновь прибегать к ненавистному штампу.

«Все мужики там будут ваши!» – воскликнул Шломо, недоумевая, отчего столь затертый и, если говорить честно, идиотский текст пользуется у публики столь неизменным успехом. Наградой ему стали сияющие глаза его ненаглядных повелительниц.

«Ну, – спросил он робко. – Теперь уже поехали? Раньше сядем – раньше выйдем...»

«Даже не надейся, – сурово ответила Катя. – Пока «Хад Гадья» не споешь – не выйдешь».

* * *

Они отъехали от Мерказухи в начале шестого. Движение было почти как в час пик – накрашенный и разодетый Народ Израиля торопился на Пасхальный Седер. На проспекте Бегина Катя, вместо того, чтобы свернуть направо, к выезду на первое шоссе, продолжила прямо, в сторону Рамота.

«Смотри, Катюня, перестреляют нас на этой дороге, – сказал Шломо. – Хотя, если уж погибать, то лучше всем вместе...»

Бейт-хоронское шоссе, спускающееся от Иерусалима параллельно главной дороге на Тель-Авив, было в последние месяцы неспокойно. Арабы обстреливали автомашины, несколько человек погибло. ЦАХАЛ усилил патрулирование в районе близлежащих деревень, и пару недель тому назад ликвидировал банду, как крыс. Но в точности, как крысы, они могли вдруг проклюнуться на другом, а то и на том же участке. По этой самой причине в последнее время шоссе пустовало, даже днем.

«Да, мама, – недовольно заметила Женька. – Зачем лезть на рожон? Мне лично умирать не хочется, даже когда все вместе».

«Перестаньте скулить, бобики, – весело ответила Катя. – Охота вам в пробку лезть? Сами ведь говорили, что опаздываем. А тут мы с ветерком доедем, вот увидите...»

Еще бы – полицейские радары на бейт-хоронском шоссе не водились...

Начался дождь, несильный, но уверенный в своей основательности, из тех, что приходят на несколько часов, а если повезет, то и на всю ночь. «Хорошо бы так», – подумал Шломо. От сильных ливней проку было мало – в течение получаса они обрушивали на измученную засухой страну океаны бестолковой воды, которая тут же выплескивалась в сытое Средиземное море, прихватив с собой полдесятка автомобилей и затопив по дороге пару-тройку тель-авивских или ашдодских кварталов. Этот же долгоиграющий неторопливый дождяра поил, а не топил, насыщая водой трудный, ссохшийся глинозем Земли Обетованной, просачиваясь в подземные резервуары, а главное – наполняя совсем обмелевший за последние годы Кинерет.

Хотя, если честно, трудно представить себе что-либо более мощное и значительное, чем гроза с ливнем в Иерусалиме. Шломо прикрыл глаза, вспомнив одно из самых ярких своих впечатлений, когда буря застигла его поздним вечером, почти ночью, в квартале Нахлаот. Он вспомнил потоки воды, несущиеся по узким горбатым улочкам в желтом свете испуганных фонарей; водопады, низвергающиеся из боковых переулков; вихрящиеся водовороты площадей; черно-золотые стены притихших домов; тускло мерцающую под слоем воды мостовую. И яростный скорпион молнии, серебряный на черном, растопыривший на полнеба свои острые члены, грозящий миру смертоносным жалящим хвостом. И гром, оглушительный до треска в ушах, гром-грохот, гром-молот, заслоняющий своей черной великанской тушей даже эту ужасную молнию, вызвавшую его к жизни из невозможных вулканических подземелий... И восторг, ни с чем не сравнимый восторг, размером с этот ливень, с эту молнию, с этот гром; пьянящее чувство равновеликости буре и никакого, ну просто никакого страха – потому что тут, в Его Доме, тут, в Месте, где живет Хозяин, не может случиться ничего плохого...

Он открыл глаза оттого, что машина остановилась. Последний светофор на выезде из Гиват-Зеэва.

«Проснулся, дорогой? – приветствовала его Катя. Она миновала поворот на Рамаллу и резко увеличила скорость. – Ты лучше спи дальше, а то ведь начнешь сейчас нудеть под руку…»

«Как же, уснешь тут, когда ты фигачишь под сто сорок, – сказал Шломо. – Пожалей хоть машинку, она ведь вот-вот развалится…»

Их старенький «уно» и впрямь уже не подходил для таких нагрузок. Он стонал всеми своими сочленениями, звенел клапанами, скрипел рессорами и вообще протестовал, как мог.

«Катя. Ну Катя…» Бесполезно. Ничто не могло ослабить безжалостного давления катиной правой ноги, утопившей педаль газа в полу несчастного «фиатика».

«Мама, – поддержала отца Женька. – Может и впрямь не надо? Дождь все-таки...»

«Какие вы все-таки зануды», – вздохнула Катя и слегка отпустила педаль. «Уно» радостно хрюкнул, поняв, что есть шанс выжить и попытался сползти на сто десять. Но не тут-то было.

Катя пустила в ход последний аргумент. «На высокой скорости в машину труднее попасть, – заметила она тоном штабного стратега. – А если будем еле-еле тащиться, то нас только ленивый не подстрелит…» И она снова пришпорила свою несчастную клячу. Через десять минут они уже подъезжали к бетонадам блокпоста «Маккабим». Ровно месяц тому назад на этом самом месте взорвался очередной террорист-самоубийца. На счастье, тогда обошлось всего тремя ранеными.

Блокпост знаменовал собой пересечение «зеленой черты». Опасный участок шоссе закончился, и Шломо вздохнул свободнее. «Слава Богу, – сказал он с облегчением. – Теперь хоть поедем нормально». «Перестань, Славик, – отозвалась Катя. – Не так уж это и страшно. Там уже пару месяцев как не стреляют. Взрыв на блокпосте не в счет». «Да при чем тут стрельба! – ответил Шломо. – Арабская стрельба меня волнует меньше, чем наш водила. И когда у тебя, наконец, права отнимут...» Катя рассмеялась. Она любила машину, скорость, легкое и затягивающее чувство дороги. Шломо тоже водил, но, когда они ехали куда-нибудь вдвоем, вопроса о том, кому рулить, не стояло.

«Кстати, по поводу прав, – вспомнила Катя. – Сегодня утром слышала по радио, как Слизняк распространялся насчет прав арабского народа Палестины. Так он там вскользь так упомянул друга твоего сердечного, Сашеньку. Мол, работает у него в кормушке... ну, институт этот опереточный, помнишь?»

Шломо неохотно кивнул. «Помню…»

Катя выдержала паузу. «И это все? – спросила она, не дождавшись продолжения. – Вся твоя реакция? «Госдепартамент отказался опровергнуть или подтвердить...»? Скажи уже что-нибудь. Наверняка ты об этом знаешь».

«Знаю».

«И до сих пор ему руку подаешь? Водку вместе выпиваешь? О судьбах человечества с ним треплешься? Смотрите, господин Шломо Бельский, как бы не замараться. Так ведь к нам приличные люди ходить перестанут».

«Как ты не можешь понять, – сказал Шломо. – Саша – мой ближайший друг. Я не могу засунуть собаке под хвост все, что связывало нас в прошлом, только из-за того, что его политические убеждения отличаются от твоих».

«Ну вот, опять я во всем виновата! Даже в том, что твой друг скурвился...»

«Перестаньте ссориться», – жалобно попросила Женька с заднего сиденья.

«Да и вообще, при чем тут мои убеждения? – возмущенно сказала Катя. – Разве непонятно, что эти подонки открыто помогают врагу во время войны? Как можно задавить террор, когда такие вот слизняки и саши морально подпитывают террористов? Ты помнишь этого гада, неделю назад, на Кинг Джордж? Того, что взорвал женщину на пятом месяце беременности? Чтобы сделать такую вещь, одной бомбы мало, нужно еще и сознание моральной правоты. Разве не так? Бомба и мораль, мораль и бомба, и еще неизвестно, что тут важнее... Твой Саша, конечно, бомбы не подкладывает. У них разделение труда, у гадов. Он по части морали работает, дружок твой хренов».

«Катя, – устало сказал Шломо. – Ну что ты меня мучаешь? Ну не могу я ним расплеваться, не могу. В особенности сейчас, когда он у Сени из милости подъедается, безо всяких средств к существованию. Сама подумай...»

«А вот не жалко мне его, – зло процедила она, вцепившись в руль. – Не жалко. Женщину ту молодую – жалко. И ребенка ее не родившегося. И мужа ее, вместе с ней погибшего. И двоих малолеток, что дома с бэбиситтером остались, пока папа свезет маму на ультрасаунд... Их вот мне жалко. А Сашу твоего – нет. Ничего с ним не случится – дерьмо не тонет. Вот и джоб себе отхватил – все, как я тебе говорила...»

В глазах у нее стояли слезы. Шломо погладил ее по руке: «Ну не надо, Катюня, ну что ты? Все ведь хорошо... Вот, на праздник едем...»

Женька предостерегающе подключилась сзади: «Мама, прекрати немедленно, у тебя сейчас глаза потекут».

Катя вдруг как-то беспомощно всхлипнула: «Я боюсь... Я так боюсь, что с нами что-нибудь случится... Все эти взрывы и выстрелы, и все это каждый день, каждый божий день...»

«Ну вот, – нравоучительно отметила Женька. – Потекли. Я же предупреждала…»

Они проехали Глилот и свернули на Приморское шоссе. Дождь продолжал идти, размеренно и мощно, как чемпион по спортивной ходьбе.

«Ладно, хватит о грустном, – решительно объявил Шломо. – Давайте лучше о чем-нибудь другом. К примеру, что это за дом, куда мы едем?»

Катя поперхнулась, перестала хлюпать носом и, наконец, улыбнулась мужу самой очаровательной из своих улыбок.

«Славик, ты только не сердись, – сказала она преувеличенно бодро. – Я все хотела тебе сказать, да как-то к слову не приходилось. Это вовсе не дом. Мы едем в ресторан. Рафи заказал там места на всю нашу контору…»

«Ну знаешь, – возмутился Шломо. – Это просто... это просто...» Он не находил слов.

«Но почему? Какая тебе разница, где сидеть – в чьем-то доме или в ресторане?»

«Да при чем тут это? Знай я, что речь идет о ресторане, где, кроме нас, будет еще пара сотен людей, я бы ни за что не пошел. Но ты ведь мне пела о смертельной обиде семейному седеру твоего босса! Знаешь, что это, дорогая моя? – Гнусный обман и больше ничего!»

«Славочка, во-первых, контора у нас маленькая, так что седер действительно как бы семейный. Во-вторых, я и впрямь немного схитрила, но ведь иначе тебя было не вытащить. Я вот тебе не говорю, а там чуть не каждую неделю то брит, то свадьба, то бар-мицва, то похороны. Сил нету. И на все надо ходить. И все бабы с мужьями ходят, только я все время одна, как безмужняя. Неудобно. Тем более, у меня муж во-он какой хороший... Ведь хороший? Хороший?»

Шломо упрямо мотнул головой, уклоняясь от ее руки. Но улыбка уже дергалась в складке его губ. Он был органически неспособен сердиться на свою жену более нескольких минут.

«Правильно Женька говорит – фраер я ушастый, – сказал Шломо. – Вертишь ты мною, как хочешь. И всегда вертела…»

«Папа, а чего ты так переживаешь? – вмешалась Женька. – Тебе же лучше. В большой компании сачкануть легче. Скажешь пару раз «амен» и дело с концами».

Бельские въехали в Нетанию и теперь медленно продвигались по направлению к морю. Ресторан, по словам Кати, был расположен возле самой площади Независимости. Этот район города кишел гостиницами, ресторанами и кафе; каждое заведение предлагало свои услуги по празднованию Песаха, и поэтому все прилегающие к площади улицы представляли собой одну сплошную автомобильную пробку. Надо было подумать и о стоянке. Катя и Женя с негодованием отвергли шломину идею поставить машину где-нибудь в отдалении и пройти пешком. И в самом деле, дождь угрожал свести на нет все их труды по наведению марафета. Твердо веря в свою шоферскую звезду, Катя искусно лавировала между машинами, гудками и веселыми водительскими перебранками, метр за метром продвигаясь к цели. Наконец, они достигли площади.

«Забудь слово «стоянка» всяк сюда въезжающий... – мрачно сказал Шломо. – Говорил я вам...»

«Слава, перестань нудеть под руку, – жестко оборвала его Катя, огибая кафе «Йотвата» и зорким взглядом обозревая окрестности. – Вот! Вот! Что я вам говорила!» И она коршуном рванулась на свободное место справа от дороги.

«Катя, – простонал Шломо. – Но это же въезд во двор. Мы не можем тут парковаться...»

«Еще как можем, – уверенно ответила Катя. – Все уже сидят по домам, так что мы тут никого не блокируем. Максимум – оставим им записку с телефоном под ветровым стеклом. Позвонят – ты выйдешь и дашь проехать. Вон наша дверь – почти напротив…» Она указала на ярко освещенный вход под длинным, далеко выдающимся на улицу козырьком.

«Как же они позвонят, когда праздник? – Это был последний, но сильный аргумент. – Религиозные по праздникам не звонят».

«Ха! – с легкостью парировала Катя. – Религиозные по праздникам и не ездят!»

Шломо понял, что карта его бита. Угроза полицейского рапорта легко отметалась очевидным «кто же пишет рапо.рты по праздникам?» Он вздохнул и покорился неизбежному.

* * *

Странно, но в итоге они почти не опоздали. Ресторан был при небольшой гостинице; маленькое уютное лобби с синими мягкими креслами, стойка справа, неназойливый охранник при входе, улыбчивый метрдотель... Зал, человек на двести, был почти полон к их приходу. Катя махнула кому-то рукой, в ответ из-за стола в самой середине зала выскочил шустрый человек в кипе и тараканьими глазами навыкате. «Катья, – закричал он, распахивая объятия. – Как я рад! Ты просто не представляешь... Наконец-то... Шломо, я безумно счастлив с тобой познакомиться; я – Рафи... так много наслышан... мы еще поговорим... О! А это – молодая леди? Прямо из джунглей Амазонии? Где же твой попугай?..»

При всей очевидной преувеличенности его реакции, она не выглядела фальшивой; возможно, оттого, что преувеличенность эта была бескорыстной, простой данью торжественности праздника, искренним желанием сказать гостям что-то доброе, красивое, приличествующее масштабу грандиозного события, именуемого «Песах». Помимо всего прочего, это были его, рафины, персональные гости; это он, заплатив немалые деньги, пригласил их сюда, за эти пять столов в роскошном пятизвездочном отеле; это был его, крохотный, но личный вклад в звенящую святость столь значимого для него события. И теперь он просто хотел, чтобы всем было хорошо, чтобы все радовались, потому что эта радость свидетельствовала в пользу того, что его личный вклад был не напрасен, что его малая жертва была милостиво принята тем большим и страшным Хозяином, что праздновал сегодня один из главных Своих праздников.

Шломо кивал и улыбался ему в ответ, говорил ничего сами по себе не значащие ритуальные слова и думал про себя, какой славный, в конце концов, этот Рафи, при всей его прижимистости; как искренен и, видимо, угоден Богу его простой и безыскусный порыв, как это, в сущности, правильно и справедливо – радоваться всем вместе тому давнему символическому событию, нашему общему освобождению из рабства, именно сейчас, когда эти сволочи бомбят нас на каждом углу, безотносительно к тому, что бомбят, безотносительно к чему бы то ни было, радоваться, потому что в этом наша связь с нашим Богом, с нашими основами и с воздухом в наших легких. Ему даже стало стыдно за свою давешнюю капризность, и он извиняюще сжал катин локоть, и она ответила ему веселым и свободным, в такт Песаху, взглядом.

Не переставая говорить, Рафи усадил их за один из своих столов. Катя представила мужу соседей. Давид и Анат, бывшие кибуцники, застигнутые в середине земного пути таинственным звоном дальнего колокольчика и теперь живущие в поселении Нахлиэль к северу от Рамаллы, он – с кипой на голове, она – в платке и с длинной юбкой. Меир – бывший марокканец, житель Тель-Авива, маленький, шебутной, круглоглазый, с такой же шустрой, как и он, крашеной в блондинку женой. Арик, бывший мошавник, высокий усатый вдовец лет шестидесяти из Хадеры. Собрание бывших... В этом смысле семья Бельских дополняла картину с пугающим совершенством.

«Конечно, – сказал Меир, продолжая разговор после того, как все отвесили друг другу положенное количество кивков, улыбок и реверансов. – Конечно. Всех их, сук, выбросить отсюда, раз и навсегда. Ты, Арик, не знаешь, что такое араб. Я – знаю. И Малка вот знает, ...правда, Малуш? – жена его кивнула крашеной головой. – Араб, он, падла, врун. Он врет как дышит. Ты его можешь тридцать лет с руки кормить, и каждый день все эти тридцать лет он на тебя молиться будет, вслух и при свидетелях... а на первый день тридцать первого года всадит в тебя нож и еще попрыгает, радостный, на теле твоем фраерном. Мол, опаньки, смотрите, как перехитрил я глупого еврея... Я-то знаю, я с ними, с этими Фатьмами и Ахмадами, все детство мячик во дворе гонял. У них это называется «военная хитрость», за доблесть почитается…»

«Ты, Меир, расист, – отвечал ему Арик. – И насчет того, кто такие арабы, ты меня не учи. Моя семья тут испокон веков живет, бок о бок с этими самыми арабами, мы в местных турецких книгах с шестнадцатого века записаны. Я, можно сказать, палестинец в двадцать третьем поколении, а может и больше. И вот что я тебе скажу. Они тоже люди, и жить с ними можно. С некоторыми мерами предосторожности, но можно. И жить, и дела делать. Лишь бы мир был…»

«Как же, – сказала Малка. – Мир... В жопу они тебе вставят мир твой... Астронавт ты хренов...»

«Малуш... – примирительно шепнул Меир. – Зря ты так... Дети...» Он указал глазами на Женьку.

«Ага, – стояла на своем Малка. – Именно дети. Мы-то ладно, мы-то пожили... А вот детей – жалко».

На поясе у Шломо завибрировал сотовый телефон. Шломо нажал на кнопку и сказал «алло».

«Наглец! – ответила трубка женским голосом. – Я сейчас вызову полицию! Совсем обалдели! Закрыть въезд во двор!»

«Я уже выхожу, – сказал Шломо. – Извините».

Он улыбнулся Кате, упорно глядящей в другую сторону, подмигнул Женьке и пошел к выходу.

«Не задерживайся, Шломо, – сказал ему вслед Давид. – Седер вот-вот начнется». Шломо кивнул.

В лобби он почти столкнулся с длинноволосым смуглым парнем в длинном черном плаще и затененных очках в золотой оправе. Парень слепо ткнулся в его плечо, отпрянул и прижался к стене, пропуская Шломо к закрытой из-за дождя входной двери. На мгновение Шломо увидел дикое, странное выражение его остановившихся, невидящих глаз. «Надо же, как обкурился, бедняга», – подумал он и вышел на улицу, под навес.

Шломо успел сделать всего один шаг под дождь, в направлении белого задка их маленького «уно», столь ясно видимого слева, как кто-то грубо и сильно толкнул его в спину.

* * *

Толчок был настолько сильным, что он упал ничком, едва успев подставить руки, чтобы не разбить лицо об асфальт мостовой. Уже лежа на земле, Шломо вдруг понял, что слышал страшной силы хлопок, не хлопок даже, а взрыв... конечно, это был взрыв... что же до толчка, то... И связав наконец два этих события упорно отказывающимся связывать их мозгом, он осознал, что произошло нечто ужасное, ужасное настолько, что, может быть, даже не следует вставать с этого мокрого асфальта и уж во всяком случае не следует оборачиваться назад, смотреть туда, откуда он только что вышел, оставив там самое дорогое, что у него было, есть и когда-либо будет. Он встал, обернулся и посмотрел.

Там, где еще минуту тому назад сверкал огнями и хрусталем роскошный праздничный зал, теперь зияла безобразная черная дыра, чреватая страшно шевелящейся, ворочающейся, стонущей темнотой. Шломо сделал шаг, другой и затем побежал внутрь, скрежеща подошвами туфель по битому стеклу. Он бежал поразительно долго, как во сне, мучительно преодолевая эти кажущиеся бесконечными пятнадцать метров. Навстречу ему из темноты начали выходить, выпадать люди.

В темноте Шломо пробирался к середине зала, где когда-то стоял их столик. Он шел большими шагами, высоко поднимая ноги, чтобы не наступать на тела. Его хватали снизу, умоляя о помощи, но он высвобождался – ему нужно было туда, к Женьке и Кате. Все вокруг было залито водой, вода лилась и сверху – очевидно, где-то прорвало трубу.

«Вот теперь точно потечет их косметика», – подумал Шломо автоматически. Он уже дошел до места, но не видел ничего из-за темноты. «Катя! – крикнул он. – Женя!» Крик его утонул в сотнях таких же, в шуме льющейся воды, в скрежете стекла под ногами, в завывании сирен подъехавших машин. Шломо нагнулся и начал ощупывать место вслепую, в кровь режа руки острыми стеклянными осколками.

Снаружи включили прожектора; в зал вносили лампы на треногах; стало видно. Зал был разрушен полностью. Обшивочные плиты с потолка рухнули вниз, обнажив электропроводку, трубы и жестяные рукава воздуховодов. Всюду валялись обломки гипсовых панелей, вперемежку с ошметками человеческих тел, битым стеклом и разбросанной взрывом мебелью. Белыми пятнистыми комьями топорщились накрахмаленные скатерти. На полу стояли лужи чудовищного коктейля из красного пасхального вина, крови и воды. И под всем этим, вместе со всем этим шевелилась стонущая человеческая масса, живые с мертвыми пополам.

Руку с браслетом он увидел сразу же, как дали свет. Руку его девочки, с тем самым браслетом, над которым он сопел еще сегодня вечером. Шломо отбросил в сторону стул... панель обшивки... Она была там, внизу, зажатая между мертвым телом Меира и колонной, живая, с ослепшим, изуродованным до неузнаваемости лицом. Живая...

«Женечка, – простонал Шломо, беря ее за плечи. – Женечка..».

«Папа... – пробормотала она. – Папа... Я ничего не вижу... Папа..».

Она вцепилась в него обеими руками, как в детстве, твердо зная, что теперь-то все будет хорошо, теперь-то ее не дадут в обиду этой требовательной, мягкой, но страшной темноте, неотвратимо затягивающей ее в свою дальнюю безвозвратную берлогу. Шломо попытался взять ее на руки – бесполезно; она крепко-накрепко держала его, как будто знала, что это – ее единственная связь с жизнью, единственная защита от темного ласкового существа, медленно протягивающего свои щупальца вверх по плечам, по запястьям, к пальцам, крепко вцепившимся в отцовские руки, к слабеющим, слабеющим пальцам. И уже поняв, что удержаться не получится, просто не выйдет, она подумала об отце, о том, как он будет переживать, что вот – не удержал, и она улыбнулась ему улыбкой, которую он не увидел, и сказала слова утешения, которых он не услышал. А потом она просто разжала пальцы и соскользнула в смерть.

«Сюда! – закричал Шломо. – Эй! Сюда! Помогите!» Воспользовавшись тем, что Женька отпустила его, он попробовал взять ее на руки. Кто-то схватил его сзади за плечи:

«Что ты делаешь?! Так нельзя – только на носилках». Подбежали двое с импровизированными носилками, наспех сооруженными из столешниц.

«Давай, осторожно». Они положили Женьку на носилки и понесли к выходу. Шломо шел рядом, держа свою девочку за руку. В лобби остановились. «Почему встали? – не понял Шломо. – Скорее, в амбуланс!»

«Подожди, парень, – сказал один из людей. – Сначала парамедик. Первая помощь».

Подошел парамедик, в желтом светящемся жилете с магендавидом. Посмотрел. «Вы ей кто?» – «Отец».

«Имя?.. Ее имя... Возраст?» Записал.

Потом сказал, обращаясь к носильщикам: «На газон».

Они понесли. Шломо шел за носилками, не выпуская Женькину руку. Вышли под дождь и свернули направо. Там, на травяном газоне, под выбитыми окнами раскуроченного зала, были уложены в ряд несколько тел в белых, наглухо застегнутых пластиковых мешках. Носильщики остановились рядом с крайним мешком. «Опускай».

Только тут Шломо понял. «Вы что, сдурели? – закричал он. – Она ж живая! Я с ней минуту назад разговаривал! Несите ее в амбуланс, немедленно. Где врач?!»

Кто-то взял его сзади за плечи, развернул, потряс, прижал к мокрому пластиковому жилету. «Все, человек. Перестань. Она мертва, слышишь? Мертва. Все кончено».

«Все кончено, – повторил Шломо. – Все кончено…» И потерял сознание.

А дождь все шел, так же размеренно и мощно, как и час тому назад, когда еще ничего этого не было, или было, но не здесь, не с этими конкретными людьми, а где-то там, в телевизионном абстрактном далеке, где есть лишь цифры, имена и многоязыкая репортерская скороговорка.

Репортеры, впрочем, были уже на месте, расставляли свет, тянули кабели телекамер, заботливо оборачивали полиэтиленом аппаратуру, скандалили с выставленным полицией оцеплением, совали микрофоны в лицо потрясенным, оглушенным людям. Здесь испекался сейчас горячий хлеб новостей, замешанный на крови и слезах, и каждая телесеть жаждала отхватить для себя краюху побольше. И это было частью процедуры, стандартного исполнительского процесса, заранее утвержденного соответствующей комиссией, расписанного по пунктам, по должностям, с указанием ответственных и заместителей. И в этом не было ничего плохого; скорее, именно наличие этой абстрактной безличной процедуры позволяло людям отодвинуть, вытеснить из сознания невыносимую, нестерпимейшую реальность, переселить себя в разграфленный мир протокола и просто делать. Делать необходимую работу.

Первоначальная неразбериха уступила место деловитой, целенаправленной, рабочей суете. Подъезжали и отваливали амбулансы, увозя раненых в соответствующие больницы – сообразно виду и тяжести ранения. Специалисты по тыловой защите брали всевозможные пробы – от воинов джихада всегда можно ожидать самого худшего, в том числе и применения биологического оружия. Саперы обшаривали окрестности в поисках дополнительных «подарков» – заминированного автомобиля, бомбы в мусорном ящике, «забытой» на автобусной остановке сумки, начиненной взрывчаткой с гвоздями... Бригада людей в черных кипах начала свою печальную работу по сбору фрагментов человеческих тел с полу, со стен, с окрестных деревьев – ибо все должно быть предано земле из уважения к Тому, по чьему подобию сотворен человек...

Прямо на мостовой, недалеко от входа в «Парк», стояла детская коляска, их тех, что делаются специально на близнецов. Они и сидели в коляске, эти близнецы, мальчик и девочка, не более года, в праздничной кружевной одежде, одни – среди занятых своим жутким делом взрослых. Видимо, их вынесли из зала в самом начале, да так и забыли здесь, под дождем. Бог весть, что случилось с родителями – факт, что малышей никто не искал.

Они сидели молча, и это было страшнее всего. Маленькие дети – одни, без мамы, под дождем, холодно – должны бы плакать… Эти же были тихи и неподвижны, как две куклы. Вокруг крутились синие и красные мигалки; с воем подъезжали и отъезжали амбулансы, несли раненых; плакали и кричали люди, ища и оплакивая своих. А эти сидели себе, в своих мокрых кружевах, среди всего этого воющего, рыдающего, кричащего балагана – молча, отдельные в своей нездешней, какой-то даже безмятежной отрешенности. Пока наконец кто-то, оттолкнув нацелившегося в них камерой оператора, не увез коляску в гостиницу «Максим» напротив, где разместился импровизированный полицейский штаб.

В гостинице «Максим» составляли списки пострадавших, собирали свидетельские показания, пытались опознать безымянных. Трудно было ожидать, что у людей, севших за стол пасхального седера в нетанской гостинице, будут документы в карманах. У большинства их и не было. Поэтому погибшие оставались неопознанными дольше обычного.

Шломо пришел в себя, когда его, лежащего на насилках, загружали в амбуланс, где уже сидели двое пострадавших от контузии стариков. Секунду-другую он фокусировал сознание и вдруг разом все вспомнил.

Надо найти Катю. Надо найти Катю... Он вырвался от удерживавших его санитаров, выскочил из машины и огляделся. Вокруг повсюду, под непрекращающимся дождем, вели и несли на носилках раненых. Поперек входа в «Парк» была натянута желтая пластиковая лента. Шломо подошел к полицейскому у дверей.

«Мне нужно туда, – сказал он, указывая внутрь. – У меня там жена». Полицейский осторожно протянул руку и взял его за плечо. «Тебе туда не нужно, брат, – сказал он сочувственно. – Там пусто. Одни саперы. Всех уже вынесли».

«Где же моя жена? – спросил Шломо беспомощно. – Я обязан ее найти...»

«Поищи там, – полицейский указал на гостиницу «Максим». – Там наверняка знают. И... знаешь что, брат?... Возьми себя в руки. Все будет в порядке, вот увидишь...» Шломо кивнул, повернулся и шаткой походкой направился к «Максиму». Полицейский смотрел ему вслед, качая головой.

«Фамилия, имя? – человек за столом проверил списки. Дойдя до конца, он проверил еще раз с самого начала и отрицательно покачал головой. – Нет, среди эвакуированных в больницы она не значится... Подождите секунду... Давид!»

Подошел бородатый парень в дубоне.

«Давид, возьми его к вещам. Авось там что прояснится...»

Прошли «к вещам» – маленькой кучке дамских сумочек, бумажников и кошельков, сваленных на соседнем столе.

«Вот она, – сказал Шломо, указывая на катину сумочку и не зная, радоваться этому или наоборот. – Это сумочка моей жены. Что это значит?»

«Вы можете взять ее, – остановил его бородач. – И, пожалуйста, идите за мной».

Они снова вышли под дождь, направляясь через дорогу к газону слева от гостиницы «Парк», туда, где Шломо незадолго до этого оставил Женьку. Где незадолго до этого Женька оставила Шломо. Теперь там был длинный ряд белых пластиковых мешков. На газон выходила боковая часть зала, бывшая когда-то сплошной стеклянной стеной. Взрыв вдребезги разнес стекла, искорежил рамы переплетов, выдавил наружу декоративные карнизы, и белые полотнища занавесей, уцелевшие по причине своей легкости, колыхались теперь над газоном, над страшными пластиковыми мешками, над Женькой в одном из этих мешков – как ресницы на ее ослепшем лице, как крылья огромных птиц, как прощальные взмахи платков вослед навсегда ушедшим.

Бородач остановился напротив одного из мешков.

«Как вас зовут? – спросил он. – Шломо Бельский... Послушайте, господин Бельский. Скорее всего, у меня нет для вас хороших новостей. Я прошу вас приготовиться к самому худшему. По нашим данным, ваша жена погибла, и я прошу вас опознать ее тело».

Он наклонился и расстегнул мешок. Шломо увидел слипшиеся от крови волосы, катино платье, знакомое тонкое запястье, памятное только им обоим серебряное колечко грузинской чеканки... Он закрыл глаза. Бородач спросил жестко: «Она?» «Она... – ответил Шломо, не открывая глаз. – Закройте... дождь все-таки...»

* * *

Он шел, не разбирая дороги, сопровождаемый равнодушным, равномерным, как маятник, дождем. На площади ветер с моря ударил его по щеке, грубо толкнул в плечо и уже больше не отставал, приплясывая вокруг, воя и задираясь. И это было хорошо, потому что хоть чуть-чуть отвлекало от дикого визга циркульной пилы, перемалывающей его мозг, царапающей изнутри воспаленную подкорку. Если бы это было возможно, он снял бы голову с плеч и нес бы ее в руках, лишь бы отделить от себя этот пульсирующий, визжащий сгусток боли. Он давно уже вымок до нитки, но не чувствовал этого. Он видел перед собой только чередующиеся плиты набережной, равномерные, как дождь, как боль, как обороты пилы.

Набережная вела его на юг, уводя прочь от страшного места, где одним махом разбилась вся его жизнь, лопнули основы его бытия, распались скрепы смысла его существования, разогнулись скобы его души. Кусты шушукались ему вслед; деревья отшатывались от аллеи при его приближении; стойки забора над обрывом судорожно вцеплялись в железные перекладины. Набережная была безлюдна в это время и в эту погоду; один во всем мире, он шел, переступая от плиты к плите, и фонари, истекающие дождем, провожали его рассеянным светом.

Аллея уперлась в забор, он повернул налево, затем снова направо, бессознательно следуя древнему правилу ищущих выход из лабиринта. Пила в голове продолжала визжать, и он сжал виски руками, стараясь уменьшить мучительную вибрацию. Дорога тем временем пошла вниз, поворачивая на север, спускаясь к берегу моря, к песчаным пляжам Нетании. Не видя всего этого, он просто шел, обходя препятствие справа, и если прежде этим препятствием было ограждение над обрывом, затем забор и дома, то теперь – высокая песчаная стена или каменная круча, а море шумно дышало слева... теперь-то он заметил... да, вот оно, море, слева.

Длинный пологий спуск вывел его к нелепому бетонному замку на песке – беспорядочное нагромождение ни с чем не связанных стенок, странных, замкнутых на себя лестниц, разомкнутых арок, ворот, распахнутых в никуда. Внутри этого бедлама гнездились несколько кафе, душевые, раздевалки, офисы береговых властей. Сейчас все это было пусто, закрыто; он был один на огромном пляже, не считая дождя и ветра, один на один с темной махиной моря, встающей перед ним во весь свой гигантский рост.

Он увидел море и пошел к нему, интуитивно зная, что наконец-то нашел что-то соразмерное его боли, похожее на нее по размаху и силе, а потому – способное победить ее, эту боль, или хотя бы немного уменьшить. Море ворочалось перед ним, старое, ворчливое море, много повидавшее на своем долгом веку. Оно смотрело на вошедшего в него человека, поворачивая его так и эдак, как будто прикидывая, что же с ним делать. Оно умело забирать людей, это море, выхватывать у них дно из-под ног, закручивать их до беспамятства водоворотами в десяти метрах от берега, втягивать их в себя мощной струей, швырять с размаху на камни волнорезов... И теперь оно лениво качало этого человека на ладони, взвешивая, как с ним поступить – взять себе или выбросить вон, на мокрый береговой песок.

А он просто лежал на этой ладони, лежал и смотрел вверх, на равномерно падающий дождь, на беспроглядную вечную темноту, чувствуя, как стихает, смолкает, гаснет пылающая в голове боль, радуясь этому, готовый ко всему, кроме возврата на землю, забравшую у него двух его девочек.

Конец первой части.

(Часть вторая здесь.)

Copyright © 2002 Алекс Тарн

<< В библиотеку << **>>На сайт Тарна>>**

Hosting by SERVER OF RUSSIAN-JEWISH SITES RJEWS еврейские сайты

Участник Rambler's TOP 100

Russian America

Дизайн: ***© Studio Har Moria***